

Лагутин Д. А.

ЭТОТ ВЕЧЕР, ЭТО УТРО

Рассказы

Оглавление

СПИЦА.....	3
ДЯДЯ СЕВЕР.....	22
ИДА.....	55
ДУРАКИ.....	97
СЕРДЦЕ.....	121
ГНЕЗДО.....	141
ЧУДО.....	151
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОДИНОЧЕСТВА.....	182
САМОЕ ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ.....	186
МОРЕ.....	201

СПИЦА

Мы ссыпали в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.

Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан – изъеденный трещинами и мхом – а мы все шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.

Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность – медведь Константин. Это было допотопное – когда-то белое, а ныне серо-зеленое – изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула

ветви молодая, тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и все это придавало ему нелепый вид – смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «скульптор Константин В. – перенос – в дар навеки любимой *alma mater*». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы – или хитрых пэтэушников – все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.

– Смотри! – зашипел Вовка.

Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистоном в маленькое серо-зеленое ухо.

– Володя! – окликнула его Спица, не сбавляя шага. – Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.

– Я – Дубровский! – закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.

– Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, – сообщила мраморным тоном Спица и ускорила. Деревья поределли, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

– А кто такой Дубровский? – спросил я.

– Какой-то солдат, – ответил Вовка. – Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.

– А что ему этот медведь сделал? – вклинилась розовощекая Оля Петрова.

Вовка закатил глаза.

– Какая разница? – потряс он рукой. – Это же война!

– Молодые люди! – пронесся над нами голос Спицы. – Все ко мне!

Это означало, что парк закончился, и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потерла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.

– Молодые люди. Если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами, (пауза) я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. – Она обвела нас холодным взглядом. – И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.

Спица уже тогда – в тот год ей исполнилось тридцать – была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со

всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнилась она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.

– И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, – расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. – Вот была бы жизнь!

– А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, – она развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, – и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение – кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала пути.

Пыхтя и сопя – спокойствие сохраняла только Спица, – мы подобралась к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец – это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо – широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы – далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на сво-

ем плече ее руку – тонкую и легкую руку художника – бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то оступился, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

– Не зеваем, – скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.

Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо как нарочно растеряло все свои переливывы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие солнца угадывалось по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось – погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы пойти следом.

– Галина Игоревна, – пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, – давайте сегодня парк рисуем.

– Оленька, – не оборачиваясь, отвечала Спица, – если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

– Проверь, но не доверяй, – шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.

– Крыса!!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередь дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.

– Володя, – медленно протянула она, закрыв глаза.

Вовка вышел на дорогу.

– Володя, – повторила Спица.

Вовка насупился. До голени его брюки были мокрыми от травы.

– Простите, Галина Игоревна, – промямлил он.

– Не. У. Меня, – не открывая глаз, отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.

– Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, – прокрякал он и сунул руки в карманы.

Оля, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти – словно и они тоже испугались и пытались сбежать.

– Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, – спокойно проговорила Спица, – но это чуть позже.

Молодые люди, – она подняла вверх руку, – рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаюсь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой – поодаль – взгляд натыкался на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, расстилалось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.

– Молодые люди, – нарушила тишину Спица. – Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше

смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую – в студии.

Мы в молчании, переглядываясь, – а не сошла ли Спица с ума? – повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.

– Надо было в такую даль тащиться, – пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, – писали бы сразу заводскую стену.

– Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, – оборвала его Спица. – Переместись, пожалуйста, во-он туда, – она махнула рукой за наши спины. – Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с

пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

– Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, – совершенно серьезно наставляла Спица. – Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, – интонация пошла вверх, – она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варежка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.

– Остальные пишут пейзаж под названием... – Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. – «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает

между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь – унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве – незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа. Спица все это знала, она вела нас по пути

собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность – если и был среди нас человек, не готовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее – а точнее, она от него – чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание, в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть – она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя – это я понял потом – училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

– Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и – с сырыми еще эскизами в руках – готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» в пакет.

Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога моя запнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорилась.

По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. – он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навек любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После – ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но провисела недолго: часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок – кружки и секции расселяли по соседним кабинетам – наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдала такти Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз – через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместились бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макуш-

ки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.

На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.

ДЯДЯ СЕВЕР

Два раза в год к нам приезжал брат отца – дядя Игорь. Он работал где-то далеко на севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него была густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями – мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная – три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.

– Никак не повзрослеет, – говорила она.

Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, – не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

– Дядь, дядь, расскажи про север, – обступали мы его.

В моем положении племянника не было ровным счетом никаких привилегий – он был дядей нам всем – и

никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество, – о котором теперь я вспоминаю с теплом, – было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы, – на висках они уже начинали седеть, – пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

– Про север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Не вместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «Как-то раз».

– Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

– Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

– Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дымил трубкой и басил из-за своей бороды.

Север – чудный, далекий – казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там

свое, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а ее огонек – угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь – угрюмая и загадочная.

– Ты для них не дядя Игорь, – шутил отец, – а дядя Север.

Дядя улыбался; север жил в нем, и временами казалось, что с нами он был лишь телом – душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас, дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днем был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился – принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном запирался в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска – по-дойдет к окну, постоит. Вздохнет – и отходит.

– Хватит страдать, – говорил тогда отец и усаживал брата за стол, – смотреть тошно.

Дядя улыбался смущенно, принимал веселый вид – но через какое-то время глаза его снова подергивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездок по городу.

– Эх, – говорил он, – жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колол.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клена настоящий дом – добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером.

Первое время мы из него не вылезали – сидели там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шел к клену, становился внизу и, задрав голову, басил:

– Кто-кто в теремочке живет?

Мы, сдерживая смех, молчали.

– Ну, значит, – я, – говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался – и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

– А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка – одно смотрело на запад, другое на восток. Дядя показывал на западное:

– Ишь как полыхает.

И мы заморожено смотрели на закат.

– А ну-ка, – спросит, – какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? – и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

– Т-теплые.

– Прекрасно, – подбодрит дядя. – А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне – бах! бах! Искры кругом, жарыща, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнет, не морщась.

– А лет ему уже под шестой десяток, – подводит дядя итог. – Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца, – огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север – край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скреб бороду, спрашивал нас о чем-нибудь – не любил тишины. Из окошка лилось все меньше света, клен обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса – ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал ее в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшеклассники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянь, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слеplенные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клен, будто с извинениями разводивший в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

– Никаких шалашей, – оборвал сходу отец, – или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом – для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился все более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день – но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала его сердце еще до отъезда *оттуда*, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И все же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам – отцу, мне, матери, нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос – по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его по-

желтели, лицо покрылось морщинами, но он был по-прежнему красив и силен – и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильей, каким я видел его в мечтах о севере.

А мечтали мы все – каждый мальчишка. Грезили суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде – он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьезно и как будто с горечью:

– Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату – маленькую, светлую, с окошком в сад – и сидел за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с черными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках – за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

“Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет – хоть плачь. И каждый день пьет. Но мужик – во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку – этот чудом не обмерз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обогрелась, отъелась да и осталась при нас – не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился – и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции – не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем – про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

От всех тебе приветы, а я пошел, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори все-таки назвать Антоном.

Антон”.

И дата – месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо – пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками – адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован – сидел и смотрел, такая она расчудесная – ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тень, свет-тень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далеких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

“И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье”.

Я очень боялся, что кто-нибудь в мое отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на север, и живут там в сторожке – сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества – мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда – берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдет отец. Зажжет абажур, устроится поудобнее – и читает. Но читает не дядино – что-то свое.

А я грезил севером. Мне снились необозримые пестрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и щурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чащу, а в самом центре севера – на белоснежном плато, окаймленном вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звезд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике – спокойный и уверенный – сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто *быть там* – населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их – и пересказал нам.

И закат – то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам – еще раз увидеть то, о чем только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку – отец и дядя, совсем еще дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя – большеголовый, ху-

денький, с огромными удивленными глазами жметя к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка навряд ли можно было сказать, что на фото – братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты – на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи – отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал ее, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца – где-то далеко за решительностью, за вызовом – я увидел настороженность, напряженность. Еще

глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я как в воду погружался в дядин взгляд – слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далекое, удивительное – и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец-богатырь смотрел на меня из далекого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд *говорил*, а я – в меру своего понимания – внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку – махровую от пыли, с истрепанным уголком.

– Гляди–ка! – присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскреб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе – вероятно, он забыл о фотографии, как только выпустил ее из рук – а мать сказала, что не брала.

– Возьми другую, их там море, – добавила она.

Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про север, и мое внимание – как и внимание всех окрестных мальчишек – обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу – хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку – со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка – в ней угадывались две фигурки с веслами.

Когда – в очередной приезд дяди – мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

– Это пустык, а не река. Бывают и посерьезнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

– А что это у вас за трофей? – спросил он. – Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

– Хорошая книга, – протянул дядя, рассматривая иллюстрации. – Только, – ткнул он пальцем в текст, – сухая, ненастоящая.

Вздыхнул.

– Север, братцы, это вам не циферки эти, не справочки...это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

– А вы на собаках катались? – спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

– Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил.

– А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на севере – инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту – когда-нибудь да переехать *туда*. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я все ждал, что дядя позовет меня к себе – я взросле- лел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчи- во и обещал поговорить с отцом. И все, никакого резуль- тата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная рабо- та – и я отвернулся от севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, – не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважд- ды: на похоронах отца и – не так давно – в его москов- ской квартире. На похоронах дядя был молчалив и уг- рюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из- за седой бороды. Отошел, ссутулившись.

Перед отъездом – теперь я провожал его на поезд – мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел

ветер, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше – он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза – теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, *неопределимого*, что так влекло меня в той фотографии.

– Так-то, брат, – закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону, и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице – здоровье не позволяло продолжать работу на севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей – далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми как лунь, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.

– А я тут сижу, как сыч, – заявил он. – Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери,

заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое, утерянное мое сокровище – два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой – испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое – наш дом, клен, отец, невероятные истории, север.

Чудесный, далекий север.

– Дядя, – сказал я, вернувшись в кухню, – откуда у Вас та фотография – что на столе стоит. Где Вы с отцом.

Старик провел широкой ладонью по бороде.

– Сережа подарил, – сказал он.

Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно – словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобраться, где повседневное, а где – *оно*, таинственное? Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку, и простые переживания одинокого старика.

В конце концов, дядя принялся говорить о севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы – очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может – или не желает – высказать всего, что скопилось

в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует – по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

– Дядя, – перебил я его. – А переезжайте к нам. Сын уже учится – живет в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.

– Дров Вам навезем, – пошутил я, – колоть будете.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

– Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

– Зачем Вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что Вам неуютно здесь. Зачем же было все это?

Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и

точки звезд. Растревоженные воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стенкой раздался какой-то шум – как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго – мне казалось, целую вечность, – сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть – пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал *это* в глазах отца. Нашел ли?

Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, – все мы уютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И

только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон – бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук – и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но еще долю секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне при-свистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память – или хотя бы на время – карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

– Да-да, конечно, – пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок, и крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

– Простите меня, – сипло произнес я. – Простите. Пусть... останется у Вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд – тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне — и сообщал, что возвращается на север.

“Здоровье... а что с него толку, коли сижу в этой коробке — и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу”.

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него в конверте ничего не было.

ИДА

Лидия Егоровна, или, как звали ее правнучки, Ида, в очередной раз проснулась от холода – соскользнувшее одеяло лежало на полу. Она, не открывая глаз, повернулась, свесила руку, и втащила его обратно. Повела плечами, устраиваясь поудобнее. Холодное и неприятное, точно сырое, одеяло обожгло щеку.

В щель между шторами полз бледно-серый свет, спать не хотелось.

Иде шел восемьдесят пятый год. Несколько лет назад дочь привезла ее к себе, в Петербург. Из квартиры Ида почти не выходила – климат не баловал, а здоровье в какой-то момент ухудшилось. Да и желания особенного не было – город уже не удивлял, а родным так и не стал.

Где-то зазвонил телефон. По коридору простучали шаги, и Ида услышала густой бас Сережи – зятя. Постукивали несмело настенные часы. Четверть девятого.

Угловатые, громоздкие мысли толпились в Идиной голове, а среди них в самом центре ворочалась неясная тревога. Причиной тревоги был странный, неожиданный сон – непохожий на те сны, которые Ида привыкла видеть.

Обычно ей снились разговоры с домочадцами, ни слова из которых запомнить не удавалось. Или ее комната, залитая серым светом. Или стол с клетчатой скатертью. Снились бесконечные коридоры, пыльные тряпки, белый потолок и собственные руки. Сниться могло многое, но сны казались какими-то вялыми, тусклыми и вымывались из сознания через минуту после пробуждения. В этот раз все было иначе.

Не к месту приснилась Ирка Калачева, школьная приятельница, озорница и хохотушка, проучившаяся с Идой два года, а затем увезенная родителями то ли в Америку, то ли в Австралию. Во сне Ирка, на вид лет сорока, показывала Иде свою квартиру – пустую, с выскобленными потолками. Ни мебели, ни ковров, ни даже кар-

тин – бледные обои с невыразительным рисунком и скрипящий под ногами паркет.

– Ирка, – спросила Ида и вздрогнула от зазвеневшего эха, – а мебель где?

Ирка подняла брови:

– Мебель?

И вышла из комнаты.

Ида шагнула к окну – напротив громоздились небоскребы. Верхние этажи терялись в облаках. Сотни черных окон равнодушно смотрели на Иду.

Зашумели шаги, вернулась Ирка с двумя платьями в руках.

– Ида, – сказала она, – так какое надеть?

Ида прищурилась – все было как в тумане.

– Ну что ты щуришься? – всплеснула руками Ирка и скривила губы. – Слушай, душно как.

Она проскользила к окну и дернула ручку. В комнате хлынул ледяной воздух – Ида вздрогнула и проснулась.

Она лежала в кровати, тянула одеяло к подбородку, смотрела на щель между шторами, прокручивала в мыслях странный сон. Ирку она не видела со школьных лет и в памяти она так и осталась тощей, рыжей и бледной; какой она выросла, Ида не знала и знать не могла. Ида силилась связать какие-то нити, сложить какие-то образы, но чем сильнее она напрягалась, тем тоньше становились черты и тем дальше уплывало от нее Иркино лицо; мысли дрожали и тонули в мягком сыром тумане.

Из-за стены раздался звон – на кухне что-то упало. Ида медленно села, потерла лицо сухими ладонями. Опираясь о тумбочку, встала и принялась одеваться.

Когда она вошла на кухню, завтрак был уже окончен. Сережа допивал кофе, листая журнал, Марина, Идина дочь, мыла посуду. С подоконника сыпался непрерывающийся бубнеж радио.

– Привет, мам, – обернувшись, окликнула Иду Марина.

– Доброе утро, – поздоровался Сережа.

Ида улыбнулась, кивнула и села.

– Как спалось? – поинтересовалась Марина сквозь плеск воды.

Сережа вдруг заинтересованно вскинул голову и нахмурился; потом протянул руку под занавеску – и радио забубнело громче.

– Ничего, – пожала плечами Ида.

Перед ней возникла чашка с бледным, желтоватым чаем и тарелка с кашей. Марина зазвенела ящиками и вручила матери ложку.

– Горячая, ешь аккуратно, – сообщила она.

Ида, зачерпнула из тарелки, поднесла к губам, подула.

– А у нас, – заговорила Марина, – старая песня.
Клавдия опять прикармливает голубей.

Ида пожала плечами и закашлялась – горло обожгло.

– Мама. Говорила же – горячо.

Сережа покачал головой. Затем отложил журнал, встал, потянулся.

– Я все, уехал.

И вышел.

Марина распахнула холодильник, заглянула в него и крикнула вслед мужу:

– Сережа! Купи рыбы!

– Хорошо! – отозвался глухой голос из прихожей, потом послышалась какая-то возня, брэнчание ключей. Через несколько секунд громыхнула дверь.

Марина вернулась к раковине, вновь зашумела вода.

– Я ей говорю, – продолжила она, – Ваши голуби мне житья не дают, а она – можешь ты себе представить? – руками разводит, моргает, а сказать ничего не может.

Она притихла на минуту, – и вдруг резко обернулась.

– Слушай, мам, а она не немая?

Ида опустила поднесенную ко рту чашку и пожала плечами.

Двумя этажами выше жила таинственная Клавдия – по-видимому, пенсионерка – щедро снабжавшая пшеном голубей, которые с готовностью слетались к ее подоконнику со всей округи. Эта Клавдия, которую Ида ни разу в жизни не видела, была для Марины с ее стремлением к чистоте постоянным раздражителем: выступ, к которому примыкало окно их кухни, находился под постоянным гнетом птиц; смотреть на него без слез было невозможно.

Какое-то время молча занимались своими делами – Марина протирала столешницы, расставляла посуду, Ида тянула чай и мяла во рту остывшую кашу. Потом зазвонил телефон и Марина, вытирая ладони о фартук, двинулась в коридор.

Ида осталась одна.

– ... вы даже представить себе не можете, в каких условиях большинство из них живет, – бормотало радио проникновенно, – в нравственном смысле они недалеко ушли от крепостных, которых в позапрошлом веке было не зазорно выпороть за малейшую провинность. И все молчат, и все соглашаются. И никто ничего не делает. Ничего не меняется, верьте мне, ничего. Эти вот на предпоказы ходят, театральные сезоны открывают, награды получают, а между тем мирятся с катастрофической несправедливостью и унижением. Можно бы, кажется, понимать...

Иду стало клонить в сон. Она подтянула к себе Сережин журнал, щурясь, всмотрелась в обложку, осто-

рожно заглянула внутрь, но ничего интересного не нашла – текст серыми лентами полз куда-то вбок, изображения плыли и сливались.

– ... не хватает им, не хватает, понимаете ли, решимости. Их, видите ли, устраивает такая жизнь. Но разве может человека устраивать *это*? А те, кого якобы не устраивает... эти еще хуже, потому что на каждом углу кричат о своей позиции, но мизинцем ради нее пошевелить не хотят. Почему, ответьте, почему они ничего не делают, а только мелят языком без устали? Порой смотришь в их лица, и такое зло разбирает...

На подоконник приземлился голубь. Он прошествовал от одного края к другому, внимательно посмотрел на Иду, повертел шеей и застыл, точно задумавшись.

– А ну пошел вон! – закричала на него Марина, появившаяся на пороге. Она подскочила к окну и замахнулась на птицу полотенцем. Голубь встрепенулся и ухнул куда-то вниз.

Ида, уже провалившаяся в мутную дремоту, вздрогнула и опрокинула на скатерть чашку с остатками чая. Марина всплеснула руками.

– Мамочка, милая, иди к себе, – она помогла Иде подняться и проводила в коридор, поддерживая под локоть.

Ида засеменила вдоль стены.

У своей комнаты она остановилась и позвала:

– Марина!

Из кухни выглянула дочь с всклокоченными волосами.

– А дети? Сегодня будут? – спросила Ида.

– Пока не знаю, – ответила Марина и скрылась.

Послышался звон и плеск. Ида вошла к себе и закрылась.

В комнате царил полумрак – шторы были все еще задернуты. Через тонкую щель на пол сыпался свет. Ида подошла к окну, растянула в стороны тяжелую ткань, привычно опустилась на стоящую тут же табуретку и, опершись локтем о подоконник, застыла.

Над городом висели угрюмые тучи – казалось, будто они в любой момент могут сорваться со своих гвоздей и рухнуть вниз. Дома смотрели будто из-под опущенных век. По проспекту в обе стороны сновали машины, тянулись трамваи. Монотонное скольжение туда-сюда влекло за собой, окутывало, укачивало. Ида искала точку, зацепившись за которую, можно будет растянуть время бодрствования – плыла по черепицам крыш, по шпильям, по вихрастой лепнине, аркам, колоннам, но ничто не занимало ее внимания, все сливалось в сплошное серое полотнище и звало в объятья – мягкие и душные. Ида подняла глаза к небу и смотрела, как над домом кружит стайка голубей – серых на сером. Танец, сперва показавшийся увлекательным, быстро наскучил и превратился в бессмысленное мельтешение. Ида потеряла глаза, пригла-

дила тонкую прядь, соскользнувшую на лоб. Комната таяла в тишине, где-то далеко по квартире порхала Марина, раскладывая, перебирая, выметая и ополаскивая, как сквозь вату доносилось глухое гудение стиральной машины. Медленно, со вздохами тикали на стене часы. Ида не заметила, как голова ее склонилась на грудь, и все соскользнуло в серую мглу.

Ей снилось ведро, до краев наполненное ледяной водой. По бортикам, в тех местах, где краска облупилась или была стесана, чернели прогалины ржавчины; ручка дугой выгибалась над водой, увенчанная деревянным брусочком – чтобы удобнее было держать. Брусочек – покрыт трещинками и вздут. По ручке, как по мосту, неспешно ползла крохотная зеленая гусеница – тоненькое тельце то сжималось, то разжималось. Вот гусеница подобралась к брусочку, ткнулась в него раз-другой, прижалась, приподнялась – и упала в воду.

Ида открыла глаза, повернулась к окну.

На той стороне проспекта, у входа в парк, толпились люди. Ида прищурилась, прильнула к стеклу.

На тротуаре лицом вверх лежал человек, рядом с головой чернело какое-то пятнышко – шляпа. Вокруг толпились прохожие и то наклонялись к лежащему, то принимались говорить друг с другом. Кто-то держал у уха телефон. Вдруг человек пошевелился, развел руки в стороны, неловко повернулся, уперся в землю и, поджимая длинные худые ноги, нескладно поднялся, прижимая ладонь к груди. Ему подали шляпу и какую-то палку, валяющуюся тут же. Человек, не отряхивая, водрузил шляпу на голову, крепко схватился за палку, оказавшуюся тростью, и, кивая окружающим, двинулся прочь. Прохожие некоторое время стояли на месте, глядя ему вслед, потом начали расходиться.

На стекле засеребрились какие-то точки – начинался дождь. Из Марининой комнаты слышался равномерный стук клавиатуры.

В час обедали. Марина была чем-то расстроена и почти ничего не говорила, поджимала губы, хмурилась. Вышла из-за стола, не доев. Ида цедила борщ и смотрела, как колышутся занавески; в открытую форточку струился холодный воздух, разливался по кухне, тянулся к щиколоткам, полз в рукава.

– ... а самое смешное, что все смотрят на подобные вещи как на нечто само собой разумеющееся и ни слова не говорят против. Вот до тех пор ничего не изменится, пока наши так называемые граждане будут ходить с опущенными головами и замечать только то, что происходит в радиусе одного-двух метров вокруг них, – горячился приемник.

Ида отложила ложку и встала. Обошла стол, сдвинула занавеску и, ухватившись за ручку, с грохотом закрыла форточку. Откуда-то сверху взметнулись в воздух голуби.

По двору, лавируя между припаркованными автомобилями, нарезал круги мальчонка на велосипеде. Один

круг, другой, третий, четвертый... Серо-желтый двор колодцем будто ежился от сырости и ветра. Пятый круг, шестой, седьмой... Внезапно мальчик остановился. Обернулся через плечо и уставился на оцепеневшую Иду. Стоял неподвижно и смотрел, не отрывая глаз. Иду охватила какая-то тоска. Как-то вдруг потемнело над домами небо, взвыл жалобно ветер, а из дряблых серых туч посыпался не то снег, не то град – редкий и мелкий. Он звонко застучал по подоконнику, подскакивая и бросаясь на дно колодца; несколько горошинок удержались на краю, и Ида увидела, что они неприятного бледно-желтого цвета. Она вздрогнула и отпрянула, отгородившись от наваждения занавеской.

В Марининой комнате стрекотала клавиатура. Ида перенесла тарелку с остатками борща к раковине, вычистила ее и сунула под струю ледяной воды.

– ...если бы только открыть им глаза, дать понять, как – как на самом деле можно жить! Тогда и лозунги, и призывы нужны не будут. Очень быстро наши согражда-

не забывают обиды – а может быть, в лучших традициях Достоевского, и упиваются своей обидой и все глубже стремятся в нее завернуться...

– Марина, – позвала Ида.

– Что?

– Горячую воду отключили, что ли?

Молчание.

– Не знаю, мам. Я холодной мою. Оставь, я сделаю.

Ида выключила воду, поскребла по рукам вафельным полотенцем и направилась к себе. В коридоре было совсем темно.

Она вошла, закрыла дверь и как была – в одежде – легла на кровать лицом к стене. Но уснуть не получалось. Ворочалась, укрывалась, поджимала под себя ноги, но в конце концов легла на спину, вытянулась и стала смотреть на картину, висящую напротив кровати.

На картине был изображен залитый светом сад, расступающийся в стороны перед величественной усадьбой – колонны, арки. По аллее к усадьбе шли двое – мужчина и женщина. На женщине было пышное сиреневое платье, она держала над головой тонкий кружевной зонтик. Мужчина сжимал под мышкой трость. Сад пестрел яблонями и сиренью, по небу тянулись облака, вились птицы. Солнца видно не было, но оно чувствовалось в каждом штрихе. Усадьба казалась прекрасным дворцом, и было странно, что люди движутся к ней так размеренно и спокойно, а не бегут, сломя голову, так, будто сияющие колонны могут в любую секунду раствориться в воздухе и исчезнуть.

Картина была изучена Идой до мелочей – каждую веточку, каждый блик она могла бы объяснить и описать, а при желании – если руки не подведут – и воспроизвести; в молодости она недурно рисовала. Картина была привезена из дома, а там она висела в гостиной, а подарил ее Идиному отцу сосед-художник, высокий бородатый старик со смеющимися глазами, любивший петь в

своей мастерской. Отец относился к картине как к семейной реликвии, показывал ее гостям и несколько раз перевешивал с места на место в поисках наиболее выгодного освещения.

Старика-художника вскоре выслали за границу. Перед отъездом он раздал почти все свои работы знакомым.

Ида смотрела на колонны, небо, сирень – и душа ее успокаивалась, приходила в доброе, тихое состояние. В окно застучал дождь, с ним слился тянущийся из-за двери треск. Робко вступили часы. Наконец, комнату окутал равномерный шум, растекающийся по потолку, стенам, кровати и картине. Аллея вздрогнула и потянулась куда-то вверх, колонны склонились набок, и Ида провалилась в забытие.

Снилось поле. Ида шла, загребая босоножками траву, а над ее головой носилась туда-сюда крохотная пестрая птичка и тоненько щебетала. Ида шла и шла, шла и шла, а поле все не кончалось. Птичка то улетала вперед, то возвращалась, то металась зигзагами, то выводила

ровные круги – но не отдалялась. Горизонт таял, сливался с небом, в воздухе стоял душистый аромат черемухи и вишни, было тепло и тихо. Ида шла все быстрее, надеясь хоть куда-то да выйти, но ничего не менялось. Она не чувствовала ни усталости, ни раздражения – на нее наваливалась тяжелая, гнетущая скука. Если бы не птичка, она бы давно остановилась и села на траву, но щебет звал ее вперед, подталкивал, торопил.

В дверь позвонили, и Ида проснулась.

Дождь закончился, за шторами посветлело, холодный луч пересекал комнату, деля ее пополам. В коридоре слышались голоса.

Ида прислушалась, и губы ее растянулись в улыбке – голоса принадлежали правнучкам. Она опустила босые ноги на пол и села.

– Ида! Ида! – звенело в коридоре.

– Не шумите, бабушка отдыхает! – прозвучал строгий голос.

Дверь тут же распахнулась и в комнату, смеясь и взвизгивая, влетели правнучки. Они увидели Иду и бросились к ней.

– Ида! Ида!

Ида рассмеялась и прижала девочек к груди.

– Ну, ну, – только и сказала она.

А они уже пели о своем, перебивали друг друга, одергивали, хохотали, делились последними новостями, впечатлениями, ожиданиями. Ида улыбалась, кивала и гладила девочек по волосам.

– Привет, ба, – заглянула в комнату внучка, дочь Марины. – Как здоровье?

– Ничего.

– Идите за стол! – слышалось из кухни.

– Маша, Даша, – строго скомандовала внучка, – бе-гом мыть руки.

Девочки вспорхнули и, смеясь, исчезли в коридоре.

– Это хорошо, что ничего, – сказала внучка Ида, – слава Богу. Мама волнуется.

– Все в порядке, правда.

Внучка ободряюще потрясла кулаком и вышла.

Ида встала, взяла со столика зеркало, поднесла к лицу. Лицо как лицо.

На кухне стоял гвалт – девочки шумели, внучка пыталась их успокоить, Марина звенела тарелками, на плите шипело, над холодильником распевался телевизор, а где-то за всем этим неторопливо, с чувством собственного достоинства тянул свою шарманку радиоприемник. Когда Ида вошла, ее обдало жаром и шумом.

– Ида! Ида! – запищали девочки.

Сережа отодвинул стул, Ида села, положила ладони на стол. Потом спрятала их.

– Они и понятия не имеют... – Доносилось с подоконника, – их даже жалко, честное слово... Как можно...

Марина под вздох всеобщего восхищения опустила на стол огромное блюдо.

– Вуаля, – щелкнула она пальцами.

– Так, папа, – возмутилась внучка, – выключай-ка.

Она протянула руку, выхватила откуда-то из-под тарелок пульт, и телевизор погас. Стало чуть тише.

– Мам, ты представляешь, – заговорила Марина, раскрывая холодильник и выуживая из него салаты, – Клавдия не перестает удивлять. Теперь она так щедра со своими голубями, что мне приходится сметать пшено с *нашего* подоконника.

Она сделала ударение на «нашего». Ида посмотрела на дочь так, словно хотела что-то сказать, потом лицо ее прояснилось и губы растянулись в улыбке.

– Ничего смешного, между прочим, – нахмурилась Марина, – не хватало только, чтобы эти... – она подернула плечами, – эти – у нашего окна вились теперь.

– Ма-ма, – потянула ее за рукав внука, – давайте уже есть.

Марина всплеснула руками, засуетилась с сервировкой и, наконец, села – по левую руку от Иды.

И началось. Зазвенели приборы, зажурчали наполняемые бокалы, кухня наполнилась возгласами одобрения и комплиментами хозяйке. Разговаривали, смеялись, шутили, обменивались новостями, вспоминали былое. Девочки жужжали и хихикали, Марина жаловалась на Клавдию, внука делилась школьными успехами дочерей, а Ида качалась на волнах всеобщего воодушевления и даже забывала про еду. Ее увлекало хороводом голосов, огней и запахов, звуки сливались друг с другом и превращались в птичье пение – даже приемник стал казаться серой, надутой птицей, глухо булькающей откуда-то издалека.

– и только после того, как я увидел, в каких домах они живут, я понял, чего же нам все это время не хватало... – клокотала птица угрюмым грудным баском.

Иде было хорошо – ее окутывала тихая радость, и казалось, будто горячий летний ветер вьется вокруг нее, гладит волосы, целует щеки. Ей вспомнилась картина с усадьбой и подумалось, что, наверное, вот так – спокойно и благостно – себя ощущают люди, на ней изображенные.

– Мама, – взяла ее за руку Марина, – ты чего?

Ида вздрогнула:

– Что чего?

– Ты как-то... не знаю... задумалась... – сказала тревожно дочь, – может, пойдешь полежишь?

– Нет-нет, – улыбнулась Ида, – все хорошо.

И повторила:

– Все хорошо. Правда.

Внучка о чем-то зашептала с девочками, а потом торжественно постучала вилкой о бокал.

– Внимание, внимание! – Она сделала важное лицо.
– Сейчас перед вами выступят юные дарования Марья да Дарья со стихами Алексея Константиновича Толстого.

Девочки выпорхнули из-за стола и приземлились в центре кухни. Они защебетали между собой, по-видимому, проводя жеребьевку. Потом замерли. Даша вытянулась как струна и запищала:

– Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит зритель,
Сонно маятник стучит!

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд;
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

Внучка кивала в такт каждой строке и смотрела с восхищением.

– А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча,
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;

Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так! Не знаю, право,
Наяву я иль во сне?

Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу...

Даша запнулась, зашевелила беззвучно губами, прижала кулачки к груди и умоляюще посмотрела на мать.

– Вспомина-ай, – строго протянула та.

Даша зажмурилась, потом выдохнула:

– Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу, -
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу.

Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит зритель,
Сонно маятник стучит...

Внучка захлопала, к ней присоединились остальные.

– Замечательно! – воскликнула Марина.

– ...нет слов, просто нет слов... – проурчал из-за занавески приемник.

– И вправду, недурно, – закивал Сережа, – вот только...

Все повернулись к нему.

– Вот только как, по-вашему, может пылать догоревшая свеча?

И он засмеялся.

– Па-па! – одернула его внучка. – Ну хватит. К Толстому придрался. Дочка, прекрасно. Умница.

Ида смотрела, как обе девочки смущенно переступают с ноги на ногу.

– Так, очередь Марьи, – объявила внучка, и все притихли.

Маша сделала шаг вперед, развела ручки, вскинула подбородок – и в этот самый момент в дверь позвонили. Маша стушевалась и надула губки.

Марина встала.

– Я открою. Не переживай, дорогая.

– Я не переживаю, – пискнула Маша и насупилась.

Марина вышла – и вернулась через минуту.

– Ну и кто бы это мог быть? – Воскликнула она. – Наша общая знакомая, баба «орнитолог» Клава. Мама, – она повернулась к Иде, – она не немая. У нее кот пропал, спрашивает, вдруг мы видели. У нее еще и кот есть!

Сережа фыркнул.

– А мы, кстати, видели какого-то кота, когда к вам шли, – сообщила внучка. – Рыжий такой, у подъезда сидел.

Марина вздохнула. Потом посмотрела на часы.

– Это когда было... Так-так... Ладно, что ж делать – пойду сообщу. А ты, милая, – она наклонилась к Маше, – без бабушки не читай, пожалуйста. Мне очень интересно.

Маша кивнула. Марина улыбнулась и вышла. В кухне воцарилась тишина. Только приемник ворчал:

– И только потом мы все поняли, что же это значило, и какие перемены нас теперь ждут...

– Так, дети, – нарушил молчание Сережа, – вам мороженого положить?

Девочки захлопали в ладоши и сели на свои места.

Пока уплетали мороженое – пломбир с клубникой – вернулась Марина. Все это время Ида сидела молча и слушала, как разговаривали о чем-то Сережа и внучка.

– Не знаю, пап, – говорила та, – не думаю, чтобы это было так важно.

– Это ты сейчас не думаешь. А когда подумаешь – тью-тью. Время-то и ушло.

В кухне появилась Марина.

– Время ушло, а я пришла, – сказала она и поставила чайник на плиту.

– Что с котом? – спросила внучка.

– Нашла. Нашли, – поправилась она. – Ходили вниз, ловили беглеца. Он забился под твою, Сережа, машину и

вылезать не желал. Какой-то мальчонка помог – всю дорогу пузом вытер, но достал.

Девочки рассмеялись.

– А кот-то... Мокрый, грязный. Она заохала, в охапку – и бегом вверх. Намыливает его, наверное, теперь. В бане парит.

– Подружились? – засмеялся Сережа.

Марина смерила его презрительным взглядом.

– Вот еще. Пока не перестанет этих... – она поджала губы, – этих птиц потчевать... Да вы посмотрите только!

Все обернулись. По подоконнику, выпятив грудь, маршировал крупный голубь.

– Это вообще уже ни в какие ворота... – сообщил приемник.

– А ну брысь! – подпрыгнула к окну Марина и стукнула по стеклу ладонью.

Голубь опешил, попятился назад и, захлопав крыльями, ретировался.

– Мама, спокойнее, – мягко сказала внучка, – разобьешь ведь.

Марина цыкнула на нее через плечо. На плите за скрипел чайник.

– Так, кто пьет чай?

– Дети только что ели мороженое. Им, наверное, не надо.

Марина открыла шкафчик и извлекла из него три белоснежные фарфоровые чашечки.

– Хорошо, – сказала она, – в таком случае, юные леди, идите с прабабушкой в ее комнату и поиграйте там. А нам тут надо устроить маленькое заседание, – она повернулась к Иде. – Мама, понянчишь?

Ида с готовностью кивнула, Сережа помог ей подняться. Девочки побросали ложки и выпорхнули в коридор.

Когда Ида вошла в свою комнату, девочки сидели на ее кровати и шептались. Мягко светил абажур, комната тонула в полумраке.

– Ида! Ида! – закричали девочки. – Расскажи сказку!

Ида улыбнулась, прошагала к окну. Проспект полыхал фарами и вывесками, которые скользили, качались и плыли в темном океане петербургского вечера. Небо было затянуто тучами – ни луны, ни звезд. Еле заметно мерцали шпили и башенки, стекло было усеяно каплями, но дождь уже прошел.

Ида сдвинула шторы, повернулась к правнучкам и устало опустилась на табурет.

– Сказку? – переспросила она. – О чем?

Девочки пожали плечами.

Сонно стучали часы, из кухни тянулся ручейком негромкий разговор. Где-то наверху послышался шум – будто двигали мебель. Ида помолчала немного, собираясь с мыслями – и начала:

– Когда я была такой же махонькой, как вы... Ну, может, чуть-чуть постарше, – я, как и вы ходила в школу. И была у меня подружка. Ира. И непоседа ведь, хоть стой хоть падай, – болтушка, хохотушка. Ну точь-в-точь – вы.

Девочки радостно заерзали.

– Семья у Ирки была – прямо самые настоящие богачи. И была у них дача – чтоб, значит, в ней летом жить. Снимались с места всей семьей – и туда. А там – беседки, яблоньки, лес рядом.

– У нас тоже дача есть, – сказала Маша.

– И вы – богачи, – улыбнулась Ида. – Ну, вот и позвала меня как-то Ирка на эту самую дачу. Родители между собой все порешали загодя – и нашли, что, дескать, не такая уж это и плохая идея. И ребенок воздухом подышит, и родители спокойны – не по улицам шастает, а вроде как под присмотром. Привезли меня, с рук на руки сдали – и уехали. А я, значит, осталась. За столом посидели, в куклы поиграли, Ирка и говорит: «Пойдем, – говорит, – в лес гулять». «А отпустят?» – спрашиваю. Меня-то в строгости держали, ни-ни. «А мы быстро, – отвечает, – и глазом моргнуть не успеют». Ну, отчего ж не погулять? Вышли тихонько, да и ну себе мимо домиков, через поле – а там и лес.

По подоконнику застучало – снова пошел дождь.

– Ну и, как это положено, значит, в сказках, мы, понятное дело, заблудились. Ходили-бродили, плутали-плутали – не видать тропинки. Ирка тогда села у дерева – и рыдать. А за ней и я. Сидим – рыдаем. А тут вдруг раз! – тучи, ветер, солнце скрылось. Темно, хоть глаз коли.

Ида перевела дух. Слова медленно ползли друг к другу, слипались в предложения и караванами ползли по комнате.

– Вдруг слышим – шаги будто бы. Да тяжелые такие, точно медвежьи. Мы в дерево вжались – ни живы, ни мертвы. А шаги все ближе. Бух, бух. Выглянуть бы да посмотреть – кто там? – а страшно же. Дрожим, точно листки.

Девочки прижались друг к другу и распахнули глаза. Ида смутилась – еще испугаются.

– Вдруг откуда ни возьмись, вылетает птичка – махонькая такая, пестренькая. Прямо перед лицом у нас затрепетала – и ну в сторону. А потом опять к нам. И снова в сторону. Зовет будто. «За ней!», – командует Ирка. Она та еще командирша была, только дай волю. Я соглашаюсь. А шаги уже совсем близко – бух-бух, точно кто поленом по земле громыхает. Вскочили и – только пятки сверкают. А птичка перед нами. Ирка бежит и говорит мне: «Надо бы обернуться, обернись, Ида, пожалуйста».

А у меня самой душа в пятки ушла. «Нет, – отвечаю, – ты уж будь добра сама обернись». Ну и бежим не оборачиваясь. А шаги не отстают. Ирка тогда мне говорит, прямо на бегу: «Ты, Ида, меня прости, что я тебя в такую авантюру ввязала, это все я виновата». А я ей: «И ты меня прости, Ира. За что-нибудь». В чем-то я ведь перед ней наверняка провинилась, не могло же такого быть, чтоб совсем без вины. И бежим дальше.

Голоса на кухне зазвучали громче, послышался свист чайника.

– А лес, глядим, понемногу-то редееет. Вот уж вдалеке и свет показался, яркий такой. Птичка все шустрее, мы тоже, а позади грохот стоит, будто деревья падают. Страсти-то какие! Ирка, вижу, – отставать. Я ее за руку – раз! И тащу за собой.

Девочки задержали дыхание и даже привстали на кровати.

– Рраз – и выбегаем из леса. И оказываемся как будто в саду или вроде того – цветы разные, кустики. И солнце – яркое-яркое, ну прямо слепит. Тут грохот за спиной и затих.

Девочки выдохнули.

– Ну, мы, понятно, продолжаем бежать – все остановиться не можем. И попадаем на широкую аллею. По обеим сторонам яблоньки, вот как у нас на даче, вишенки. Мы, значит, замедлились, идем шагом, пытаемся отдышаться – а совсем остановиться боимся. Обернулись на лес – ничего не видать, все как будто тихо. Идем, дрожим. Видим – в конце аллеи дом агромадный, ну прямо дворец! Колонны, статуи, фонтан – все как полагается.

За окном завыл протяжно ветер, Ида вздрогнула.

– А птичка-то наша, смотрим, прямо к дворцу тому и летит. И нас как будто зовет. А мы уже еле ноги волочим. Но идти идем. Ирка мне говорит: «Наверное, в этом

дворце живут король и королева». «Откуда ж им тут взяться, – говорю, – рядом с твоей дачей?» Пожимает плечами. А кругом – красота неопиcуемая, куда ни глянь – все цветет, все пахнет, ветерок теплый, и как будто даже музыка звенит – тихонечко.

Дверь в комнату приоткрылась.

– Вы чего в темноте сидите? – спросила внучка, потом посмотрела на девочек. – Юные леди, собираемся.

Девочки рассеянно посмотрели на мать, потом принялись возмущаться.

– Никаких но. Мне рано вставать. На выходных дослушаете, так ведь, ба?

Ида кивнула и поднялась с табуретки. Затекшие ноги ныли.

В прихожей, когда кутались в куртки и шарфы, девочки подскочили и зашептали:

– Ида, а что вам было за то, что вы убежали?

Ида задумалась.

– Я целый месяц по грядкам дежурная была – с утра до ночи. Я Ирку – вообще вон, за границу увезли. Чтоб неповадно было.

Девочки понимающе закивали.

– Мам, пап. Спасибо за гостеприимство, – сказала внучка. – Ба, будь здорова.

И она подняла вверх сжатый кулак.

– Как доберетесь, позвони, – сказал ей Сережа.

– Хорошо.

Обнялись, перецеловались. Девочки прижались к Иде, чуть не свалив ее с ног.

Ида потрепала их по головкам, пожала маленькие теплые ладошки. Дверь открылась, пахнуло подъездом, холодом и табаком, потом закрылась – и в прихожей стало вдвое меньше людей.

– Мама, ты как?

– Ничего.

– Пойдешь спать? Поздно уже, – она подошла к матери и пригладила ей ладонью волосы. – Как посидели с детьми?

Ида засмеялась.

– Просто замечательно.

– Ну и славно, – сказала Марина. – Они тебя так любят. Просто души не чают.

Ида пожала плечами.

– Это потому что ты такая добрая, – улыбнулась Марина и поцеловала Иду в щеку. – Спокойной ночи.

Она закрыла дверь на ключ и посмотрела в глазок. Потом все разбрелись по комнатам.

Ида расстелила постель, подошла к окну, зачем-то погасила торшер. Отодвинула штору, всмотрелась в тем-

ную пелену. Тучи поредели, в проталинах мерцали звезды. Луна выглянула на мгновение, и тут же спряталась. Проспект жил обычной шумной жизнью.

Ида вернула штору на место, подошла к кровати, легла. Было тихо. Глаза привыкли к темноте и Иде показалось, что комната расширяется – стены, потолок, часы, картина расходились куда-то в стороны, точно устали друг от друга.

Иде было грустно. Она стала прислушиваться – не идет ли дождь? – и скоро уснула.

ДУРАКИ

Снится мне детство.

Снится Вовка. Вовка по малолетству был непоседой, ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. Он все время где-то бегал, дразнил каких-то собак, таскал за хвост каких-то кошек, бил какие-то стекла, пел какие-то песни и лепил из пластилина каких-то дураков. Это были не то человечки, не то зверушки – пучеглазые и весьма милые. Выражение глаз у них было форменно дурацкое, этим они и заслужили себе прозвище. Дураков Вовка рассказывал вокруг дома – в кустах, под лавками, в ветвях старого дуба. Некоторым из дураков – примелькавшимся – Вовка устраивал публичные казни: лез на крышу сарая в солнечный день, ставил неуютную фигурку на солнцепек, и та таяла, расплзалась и превращалась в непонятного цвета пластилиновую лепешку. Вечером, когда становилось прохладно, Вовка эту лепешку с шифера соскребал, скатывал в шарик, добавлял еще пару и лепил нового дурака. Такой вот выходил круговорот.

Вовкина мама, добрейшая женщина, в сыне видела талант вселенского масштаба и ухитрялась стягивать дураков с эшафота, если Вовки не было рядом. Она становилась на лавку у сарая, снимала несчастного, шла в дом и прятала его в коробку в своем бездонном шкафу. Вскоро в коробке накопилось с дюжину. Вовке она ничего не говорила, а потому тот решал, что кому-то удастся сбежать, объявлял беглецов в розыск и тратил ближайший день на исследование окрестностей. Окрестности вздыхали облегченно – целый день без разбитых окон.

Когда Вовке стукнуло двадцать, мать торжественно вручила ему коробку со спасенными дураками. Вовка был счастлив безмерно, потому что детство, как и все мы, очень любил и любой ниточке, связывающей настоящее с тем сладким временем, был рад.

Снится мне, что я иду по тропинке вдоль железной дороги, а вокруг меня прыгает Вовка, кружит, забегает вперед, торопит и повизгивает:

– Ну, давай, шевелись, дурак! Шевелись!

Я понимаю, что сплю, но ссутулив плечи продолжаю идти. Солнце светит в затылок, и от ступней моих вперед тянется длинная тощая тень, неуклюже дергающаяся в такт ходьбе. Вовка, суется, топчется по моей тени, и мне от этого неприятно, хочется подобрать ее, перекинуть через плечо и брести так, не давая пачкать ее пыльными сандалиями.

– Не шали, Вовка, – отвечаю. – Я не дурак. Дураки у тебя под кустами прячутся.

Хотел еще сказать про коробку, но вспомнил, что *этому* Вовке еще рано знать о тайнике. Пусть ждет до двадцати.

Краешек моего сознания вздрагивает о фразы "под кустами прячутся", мне становится жутко – они ведь не прячутся, Вовка сам их туда рассаживал.

Вовка, забежав порядочно вперед, что-то выкрикивает мне в ответ, что-то резкое, может быть, обидное, но

я ничего не слышу, потому как внезапно из-за правого моего плеча вылетает оглушительно грохочущий поезд.

Меня во сне ничем не удивить, я останавливаюсь и начинаю подпрыгивать на месте, махать несущемуся составу руками, радостно что-то кричать, вагоны мелькают стремительно, я не вижу даже пробелов между ними. Начинаю часто-часто моргать, чтобы вместо кино смотреть диафильм. В одном из бесчисленных окон выхватываю взглядом знакомое лицо. Я поворачиваю голову и не вижу на тропинке Вовки, вокруг меня – никого. Оглядываюсь и понимаю, что лицо в вагоне – Вовкино, это он там, подлец эдакий. Запрыгнул-таки.

Поезд также резко, как появился, превращается в уползающую вдаль гусеницу, шум пропадает, я машу вслед Вовке, выпрыгиваю на шпалы, продолжаю махать, поезд уже едва виден – козявка какая-то у горизонта. В небе по одной начинают появляться звезды, но свет за моей спиной не тускнеет. Я замечаю что-то между шпалами, наклоняюсь и поднимаю одного из Вовкиных ду-

раков, того самого, что он мне подарил как-то в пьяном угаре лет пять назад. У дурака добрые глупые глаза, он непонятно какого цвета и ручки его крохотные растопырены в стороны, будто для объятий. Кладу дурака в карман и поворачиваюсь, что бы посмотреть на солнце, которое не меркнет.

Просыпаюсь. Просыпаюсь и вижу яркий свет. На меня мгновенно обрушивается шквал голосов, звуков и запахов, я зажмуриваюсь, моргаю и понимаю, что какой-то умник светит мне в лицо фонарем.

Отталкиваю его руку.

– Ты чего разлегся? Проехать дай! – скрипит обладатель фонаря.

Я, стряхивая остатки сна, оглядываюсь и понимаю, что за время небытия сполз в кресле – хорошо на пол не свалился – и длинные мои ноги перегородили проход между рядами. Я в зале ожидания, вокруг полно народу, и подобные фривольности недопустимы. Надо мной сто-

ит косматый старик и светит на меня здоровенным пластмассовым фонарем. На старике какие-то лохмотья, куртки, пиджаки, рубашки.

"Сто одежек и все без застежек", – думаю я и подтягиваюсь в кресле, поджимая ноги. Старик признательно козыряет мне грязной ладонью, опускает фонарь куда-то за пазуху и мелкими смешными шажками, почти не отрывая подошв от пола, начинает шаркать между креслами.

Смотрю вслед. На ногах у него замызганные сапоги, в которые заправлены костюмные брюки в мелкую полосу.

Старик, не останавливаясь, оборачивается и еще раз коротко козыряет мне через плечо. Киваю в ответ. Он улыбается и продолжает свое шествие по залу, задевая людей и лежащие на полу сумки. Вскоре он скрывается за колонной, и я теряю его из виду.

Я окончательно просыпаюсь. Все тело замлело и ноет, а кроме того я порядком вспотел и от этого мне неуютно. На коленях у меня жиденский рюкзачок, постукиваю по нему ладонью, убеждаясь, что он за время моего сна не опустел совсем.

До поезда еще полчаса. Терпеть не могу ждать.

В кресле напротив расположился толстяк в шляпе. Поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Толстяк спит, запрокинув голову (как только шляпа держится?), толстые ладони сплетены на саквояжке, рот широко открыт. По щеке, приближаясь к пышным седым усам, пробирается жирная черная муха. Замирает, делает пару мушьях своих шажков и снова замирает, словно боясь разбудить.

Я брезглив. Если бы по мне спящему – да даже, если и по мне мертвому – ползла муха, я бы хотел, чтобы ее смахнули.

Муха двигается к усам толстяка, а всем вокруг плевать, и никто этого не замечает. Рядом с усачом сидит,

насупившись, его жена – тучная дама неприветливого вида – и читает что-то пестрое.

– Простите, – говорю я ей.

Не слышит.

– Я прошу прощения.

Дама медленно поднимает глаза.

Показываю пальцем на толстяка. Муха уже уперлась в ус и робко трогает его лапкой.

Дама, хмурясь, медленно поворачивает голову, медленно кривит губы и тыльной стороной ладони шлепает супруга по щеке. Муха взмывает, а толстяк вздрагивает, распахивает веки и смотрит на жену с таким непониманием, что мне его становится жалко.

Жена уже продолжает чтение, не обращая никакого внимания на мужа, ни на меня. Толстяк что-то бормочет в усы и выуживает из саквояжика пачку сигарет. Хлопает по карманам и, поняв, что чего-то в них недос-

тает, толстым указательным пальцем осторожно касается плеча благоверной. Та, не отрываясь от журнала, выдерживает откуда-то длинную сияющую зажигалку и сует мужу. Муж благодарно крикает, поднимается и семенит к выходу на перрон.

Меня опять клонит в сон. Чтобы не проспать, решаю оставшееся время провести на воздухе. Медленно встаю, накидываю на плечо рюкзак и иду вслед за толстяком.

На перроне гуляет ветер, стучит вдалеке стройка, по небу перекачивается пух облаков. Ох, как же хорошо дышать.

Справа, у самых путей, топчется толстяк. Он судорожно тянет дым в себя и судорожно же выплевывает наружу. Ловит мой взгляд и смущенно отворачивается.

Я прохожу вперед, к лавкам, воткнутым в самую середину перрона. Людей вокруг – раз-два и обчелся.

Сажусь на холодную лавку и раскрываю рюкзак. Вещей по минимуму, сверху устроились книга и завернутый в бумагу Вовкин дурак.

Достаю книгу, пытаюсь читать, но мешает ветер – хватается за страницы, дергает, мнет. Ветру невдомек, что человек, по слову Бродского, – есть продукт чтения, ему не объяснишь, что рвать порядочные издания – нехорошо.

Уступаю.

Откладываю книгу и достаю дурака. Разворачиваю, смотрю в добрые его глаза. Воспоминания обрушиваются с грохотом, сливаются с приснившимся, кружат в вихре. Ветер треплет воспоминания, как трепал страницы, вьет из них узоры, разворачивает перед моими глазами причудливую вязь.

Помню, Вовка дернулся резко, встал из-за стола, чуть не повалив его. Сунул руки в шкаф по локоть, что-то схватил, протянул мне.

– Держи. Дарю.

В ладони у него – один из дураков, смотрит на меня, ручки в стороны разводит.

Я, помню, усмехнулся.

– На кой он мне?

– Обижает.

Что я, Вовку не знаю? Как ни напьется, бывало, раздаривает дураков. Я и взял.

Вовка тогда пил без продыху. Жена ушла, с работой не складывалось, вот и повело. Стал друзей звать – что ни вечер, полна горница народу. А потом и друзья приходить перестали – не из презрения, а просто так, как-то само собой все расползлось, позабыли друг друга. Теперь вот снова соберемся. Да.

– Что за дурак? – вырывает меня из объятий памяти скрипучий голос.

Смотрю – тот самый дед, что в меня фонарем светил. Стоит, смотрит заинтересованно, пятерней бороду чешет.

– Да, так, – говорю, – подарили. А чего дурак-то?

Дед фыркает.

– А то я дурака не узнаю? Вон, – тычет пальцем, – глаза глупые какие.

Пауза.

– А добрые, – говорит.

– Ага, – киваю. И начинаю дурака в бумагу заворачивать.

Но у деда другие планы.

– Подари.

– Не могу, – вздыхаю я и заталкиваю сверток в рюкзак.

– Жлоб? – интересуется дед.

– Жлоб, – улыбаюсь. – Самому подарили, говорю же.

– Ну и ладно.

И смотрит обиженно.

А сам – ни с места. Я смотрю вдаль, мне неловко. Даль ясная, солнечная, там птицы поют, деревья шумят.

– А на фонарь поменяешь? – начинает снова.

– Извините, – говорю, – не могу. Подарок друга.

– А друг хороший?

– Хороший.

– Ну и ладно тогда. Фонарь всяко нужнее.

– Согласен.

Дед замолкает и тоже смотрит вдаль.

– Ты кем служишь? – спрашивает.

– Журналистом.

– Ну и дурак.

Молчу. И дед замолкает. Потом садится рядом со мной вполоборота, придвигается и заговорщически шепчет:

– А я – машинист.

Какой забавный старик.

– Машинист? – переспрашиваю.

– Точно. – козыряет грязной ладонью. – Сейчас постою с тобой чутка и дальше поеду.

И машет вдаль.

– А куда поедете?

– Как куда? – удивляется. – Знамо дело, за гроб.

Вздыхаю.

– Понятно, – говорю.

Все понятно. Больше и пояснять ничего не надо. Но почему-то спрашиваю:

– А поезд где?

– Хех, – усмехается. – Слепой ты что ли?

И кивает себе за спину.

За спиной у него опустевший перрон, даже толстяка не видать. Вокзал смотрит важно, под самой крышей у него красуется: «1902»

– О, – говорю, – точно. И как это я не заметил такого поезда?

– Это потому, что ты невнимательный и поверхностный.

Точнее некуда. Может, вернуться в зал ожидания? Там можно выпить кофе, можно выбрать газету. Но почему-то продолжаю задавать вопросы:

– А что везете?

Дед оглядывается. Задумывается.

– Так-то много чего. Все мое. – кивает так, словно я его заподозрил в краже. – Жизнь, она, брат, во какая длинная, всего понабрал, – разводит руки. – А в основном – грехи.

Сколько еще ждать? Еще приложит чем-нибудь – тем же фонарем. Сажусь вполоборота, чтобы быть начеку, смотрю старику в глаза.

– Ну, чего ты так смотришь? Легко, думаешь?

– Не думаю, – отвечаю.

– Вот видно, что не думаешь. Как зерно возят, видал?

– Видал.

– Вот. А я так грехи везу.

– А чего, – говорю, – Вы их везете? Бросьте – и на-
легке.

Дед вдруг захохотал, прямо таки затрясся от смеха. Смеялся долго, запрокинув голову и демонстрируя полный набор желтых квадратных зубов. Потом долго не мог отдышаться.

– Как же я вагоны отцеплю? Мог бы – понятно, давно уже бросил бы. Да только тут не моя воля.

– А чья?

Старик делает серьезное лицо и многозначительно поднимает к небу указательный палец.

Я молчу. А потом опять спрашиваю. Что ж такое со мной сегодня?

– А ваша воля где?

– А моя воля была, когда копил. Копил-копил, а вот теперь приходится всю эту дрянь на себе волочить.

– А что, – говорю, – тяжело волочить-то?

– Ну, ты деревня, – фыркает. – Знамо дело, тяжело!
Знамо дело, тяжело! – Взгляд его вдруг становится серьезным. – Но что уж тут.

Слева слышится грохот. Он нарастает, наваливается на перрон – и перед нами возникает поезд. Мой. Подполз, раззявил двери – на перрон посыпался народ.

Пора. Встаю. И старик встает.

– Подари дурака.

– Ох, отец, – говорю, – дался он тебе.

– Дался, – говорит. – Глаза больно добрые.

Ну, вот, а почему собственно и нет? Вовке он все равно ни к чему, а у доброй Вовкиной матери наверняка один-два в коробке запрятаны.

Достаю сверток, протягиваю.

Дед аж заискрился, борода расползлась в разные стороны, только что не заплакал от радости.

– Спа-си-бо, – берет дурака и прячет за пазуху. –
Хороший ты малый. Только глупый. Бог в помощь.

– И вам не хворать, – говорю.

Старик поворачивается спиной и принимается шаркать по перрону.

Я подтягиваюсь к вагону, вручаю проводнице билет. Она смотрит в спину шаркающему машинисту и говорит мне доброжелательно:

– Это машинист что ли? Вы не обращайтесь внимания... Он тут ко всем пристаёт.

Старик, словно услышав ее, оборачивается:

– Журналист!

Поднимаю руку.

– Во всех грехах раскаяться можно! Кроме одного! – козыряет и удаляется.

Остаюсь стоять с поднятой рукой.

– Да ничего, – говорю я проводнице.

Она пожимает плечами и возвращает билет:

– Десятое место.

– Спасибо.

Прохожу по вагону, задевая рюкзаком шторы. У одного окна останавливаюсь, вижу как по перрону бредет куда-то прочь от вокзала мой старик. В руке фонарь. Бледное, едва заметное пятно света скользит по заплывшему асфальту.

Захожу в купе – пустое. Опускаюсь на полку, заталкиваю под голову рюкзак. И не дожидаясь, пока поезд тронется, засыпаю.

Снится мне Вовка. Вовка часто мне снится.

Он сидит у железной дороги на валуне, в руках у него пластилин. Подхожу, сажусь рядом – на траву.

– Дураков лепишь?

– Дураков.

– Ну, лепи, дело неплохое.

Вовка пыхтит, старается, но пластилин слишком мягкий, слишком податливый, так нельзя. Вовка весь раскраснелся, ерзает. Я вижу, что по его щеке ползет черная муха.

– Вовк.

– Не мешай.

– По тебе муха ползет.

– Пускай.

Никаких "пускай". Легонько хлопаю Вовку по щеке. Он вскакивает.

– Ты чего дерешься?! Отдавай дурака!

– Вовк, я муху согнал.

– Все равно отдавай!

Я унижаться не намерен, хлопаю по карманам.
Вспоминаю, что дурака у меня нет.

– Нет у меня твоего дурака, Вовк.

– Куда дел?

– Старику отдал.

– А и ладно, – Вовка садится на камень и продолжает возиться с пластилином. – Я еще налеплю.

Сижу и смотрю. Пальцы у Вовки ловкие, все перепачканы, под ногтями глубоко черно.

– Ты обиделся что ли? – Спрашиваю.

– На что?

– Ну, за дурака. Что я его отдал.

– Нет, – отвечает Вовка, и я вижу, что там, где была на его щеке муха, блестит слеза.

– Я ж его тебе вез. Правда. Да уж больно старик чудной.

– Понял, – сухо отвечает Вовка.

Сидим молча. За моей спиной закат. Над Вовкиной макушкой небо густо оранжевое. Вокруг – сухое и желтое поле.

– Вовк, – решаюсь я, наконец.

– Что?

– А ты зачем?

– Что зачем?

– Самоубился зачем?

Вовка поднимает глаза. Пару секунд смотрит молча. Потом открывает рот и начинает быстро-быстро что-то говорить, еле сдерживая слезы.

Но в этот самый момент справа возникает поезд, он несется, ревет, гремит, я не слышу ни единого Вовкиного слова. Воздух пропитывается каким-то смрадом – невозможно дышать; над рельсами мелькают один за другим серые грузовые вагоны. Вонь идет от них.

Я смотрю на Вовку, он что-то тараторит, но ничего не разобрать – слишком громыхает.

Поезд исчезает вдали, я просыпаюсь.

Полка мягко покачивается, колеса уверенно выстукивают свой несложный ритм. Мимо запертых дверей проплывают шаги – удаляются, исчезают.

СЕРДЦЕ

Зазвонил телефон. Старик схватил трубку, зацепив локтем чашку с чаем. Раздался глухой стук и по полу во все стороны брызнуло.

– Пап? – Донеслось из трубки.

– Да. Что там?

– Еще делают.

– Почему так долго?

– Говорили с медсестрой, она сказала, что такие операции быстрее не делаются. Сказала, что надо ждать.

Старик свободной рукой провел по лицу, надавил на веки.

– Держи меня в курсе.

– Андрей может приехать, забрать тебя.

– Аня.

– Пап...

– Аня.

Короткие гудки.

Старик положил трубку. Посидел, глядя, как чай подбирается к краю серого, в ворсинках, тапка. Позволил коснуться подошвы, потом убрал ногу, наклонился, поднял кружку. Из нее со шлепком выпал пакетик. Старик оперся на стол, встал – и, переступив через бурую лужу, пошел за тряпкой.

Вечерело. Квартира плыла в сумерках. Старик, охая, опустился на колени и принялся возить тряпкой по луже. Закончив, он замер и некоторое время сидел на полу, глядя в стену и не выпуская тряпки. Потом медленно поднялся, отнес ее в ванную и вернулся.

В кухне уныло гудел холодильник, пахло чем-то кислым. Старик подошел к окну. Небо густело, кое-где проступали бледные звезды, но казалось, что еще светло. Во дворе бегали дети, гуляли с собаками взрослые. Меж-

ду домами напротив сияла широкая вертикальная полоса – было видно реку, противоположный берег, небо бледно-зеленого оттенка, вплотную прижимавшееся к горизонту. За рекой загорались огни.

Ползла неспешно лодка. Показалась из-за тридцать девятого дома, темным пятнышком протянулась по почти белой воде, дав на себя полюбоваться, и скрылась за сорок первым.

Старик постоял, глядя за реку, потом дернул форточку – в кухню ворвался каскад голосов, гудков и прочих составляющих привычного уличного шума. Где-то заиграла музыка, где-то закричали птицы, старика обдало прохладой осеннего вечера, занавески заплясали.

Зазвонил телефон.

Старик рывком обернулся, кинулся к столу.

– Ну?

– Что "ну"? – переспросил хриплый мужской голос.

– А, это ты.

– Я. Не рад?

– Извини.

Старик опустился на стул.

– В конце месяца будем собираться. Ты как?

– Не знаю.

– Почему?

– Просто не знаю.

– Валя! – раздался с улицы женский крик. – Домой!

Голос в трубке запнулся, потом проговорил как-то неуверенно:

– Ну, как узнаешь – позвони, что ли.

– Да, конечно, – вздохнул старик. – Ты извини, день такой...

Помолчали.

– Все в порядке? – спросил голос.

– Да... Не знаю... – старик откашлялся. – Не хочу говорить.

– Конечно... – проговорил голос. – Конечно. Ты звони, не пропадай.

– Хорошо.

Короткие гудки.

Старик положил трубку, пошарил рукой по столу и зажег лампу. Потом встал, заглянул в чайник – есть ли вода? – и повернул ручку. Задрожало с готовностью синее пламя.

Старик повертел головой, дотянулся до завернутого в полиэтилен пульты и включил телевизор, темневший над холодильником.

В бело-голубой студии сидели двое – постарше и помоложе – друг напротив друга. За ними по широкому

экрану плыли слайды. Старик прислушался. Говорили о Столыпине.

– Я глубоко убежден, – говорил тот, что помоложе, – что не погибни он, революции удалось бы избежать.

– Логика в этом, конечно, есть... – разводил руками тот, что постарше. – Но мы должны понимать...

– Валя! – снова закричала женский голос. – Домой!

Старик посмотрел на окно. Звезд стало больше – и сияли они ярче. Тридцать девятый и сорок первый были усыпаны пестрыми прямоугольниками окон.

Старик взял со стола кружку, повертел в руках, обдал водой. Потом отставил в сторону и сел.

Телевизор демонстрировал одну за другой черно-белые фотографии. Люди в мундирах, с орденами. Фуражки, бороды, здания с колоннами.

Старик постучал пальцами по столешнице, пригладил виски. Потом взял трубку, на мгновение закрыл глаза и, приложив ее к уху, набрал номер.

Гудки.

– Да, пап.

– Ну что там?

– Пока ничего. Ждем.

Старик помолчал.

– Ты там как? Может... Давай Андрей приедет.

– Аня.

– Папа, это же безумие какое-то. Ну, время ли... для всего этого?

Старик повысил тон:

– Аня.

– Как хочешь.

Коротки гудки.

-... самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного неуклюже... – читал с листка тот, что помоложе.

Засопел, задрожал и, наконец, завизжал чайник. Старик встал, погасил пламя, кинул в кружку пакетик и, морщась, залил кипятком. Потом посмотрел на часы и подошел к окну.

Сразу за рекой небо мерцало холодным светом, выше тонуло во мраке. На том берегу вспыхнул и засиял самый яркий огонек из всех – похожий на маяк.

Старик снова посмотрел на часы, перевел взгляд на телефон. Покусал губы. Потом медленно подошел к столу, поднял трубку, зажал ее между ухом и плечом.

– Валя! – раздалось от окна.

Старик нахмурился, шумно выдохнул и простучал по кнопкам.

Занято.

Старик скривился точно от боли и с грохотом вернул трубку на место.

– Все это мелочи, – продолжал декламировать, не поднимая глаз от листка, тот, что помоложе, – но характерна их сумма. Он занят был всегда мыслью, делом; и никогда "своей персоной", суждениями о себе...

Старик глубоко вздохнул, что-то пробормотал себе под нос и сел. Поднес к губам чашку, но было слишком горячо.

Тот, что постарше, слушал внимательно, поглаживая бородку. Едва его собеседник закончил, программа прервалась – и экран замелькал рекламой. Старик сморщился – и выключил.

За стеной раздалась голоса. Старик прислушался, попытался разобрать слова, но не смог. Встал, неуверенно прошел взад-вперед по кухне, постоял у окна, открыл и закрыл холодильник. Потом долго смотрел на телефон. Наконец, потер ладонью затылок и вышел в коридор, а оттуда в комнату. Свет он включать не стал, наощупь добрался до дивана и лег.

Но сон не шел. Старик лежал, глядя в потолок. По потолку тянулись, сталкиваясь и сливаясь, полосы света. Стрекотали на комодe часы. Старик лежал, сложив руки на животе.

За окном залилась истошно чья-то сигнализация, завывала надрывно, тонко, на все голоса. Потом стало тихо. Прогромыхали наверху чьи-то тяжелые шаги, показалось, что вздрогнула и чуть слышно зазвенела люстра.

Сна не было.

Когда старик вспомнил о чае, раздался звонок в дверь. Тут же – еще один. Старик подскочил, едва не

упав, и зашаркал в коридор. Не посмотрев в глазок, зазвенел ключами и распахнул дверь.

Никого не было. Старик услышал, как гудит, удаляясь, лифт.

Он постоял еще с минуту – по ногам потянуло холодом, пахло сыростью – потом закрыл дверь, прошел в кухню, сел и включил телевизор.

В студии появилась женщина строгого вида, в очках, с огромными красными бусами на шее. Она назидательным тоном что-то говорила, а мужчины слушали и кивали. Тот, что помладше, порывался что-то вставить, но раз за разом осекался.

Старик одним махом опустошил кружку и откинул голову назад, коснувшись затылком стены. Потом дотянулся до телефона и проверил, хорошо ли лежит трубка.

Женщина договорила, удовлетворенно сложила руки на коленях – и передача снова ушла на рекламу. Старик встал и прошагал к окну.

Было темно. По двору в поисках места ползал автомобиль. Свет от фар блуждал, изгибаясь. Из-за тридцать девятого показалась луна. По реке, вздрагивая, тянулись огоньки. Промелькнула мимо окна тень – летучая мышь. Старик приблизил лицо к стеклу, подышал на него, тут же стер мутное пятно ладонью.

Потом вернулся к столу, сел, опустив подбородок на грудь, положил руки на колени и замер. Сперва он смотрел на свои ладони, потом веки сомкнулись, и со стороны могло показаться, что он спит.

Заурчал в подъезде лифт. Этажом выше кто-то запел. Потом стало тихо. Старик пошарил рукой по стене и выключил свет – кухня провалилась в темноту. От окна сквозь занавески вилось холодное неровное сияние. Загудел нервно холодильник, в комнате еле слышно стрекотали часы.

Старик сидел, не шевелясь. По пальцам пробегала тонкая дрожь.

На квартиру навалилось грузное, плотное беззвучие. Притих холодильник; стрекот часов становился все реже, истончался – и, наконец, выскользнул куда-то и исчез. Старик услышал биение собственного сердца. Раз удар, два удар, три удар... Громче. Еще громче. Сердце стало увеличиваться, заняло целиком грудную клетку, вышло за ее пределы. Сердце росло как воздушный шар, отбивая гонг – раз удар, два удар, три удар. Сердце заполнило кухню, ударило еще раз, другой, третий – и поплыло сквозь стены – в комнату, в подъезд, к соседям, за окно. Мир сотрясался и пульсировал – раз удар, два удар, три удар.

Старик боялся пошевелиться, пальцы дрожали.

И тут зазвонил телефон.

Все тело свело судорогой, он выбросил руку вперед – и трубка громыхнула, повалившись. Щелкнул выключателем и, щурясь от нахлынувшего света, схватил трубку, перевернул, прижал к уху.

– Слушаю! – воскликнул он хрипло.

– Сделали, пап. Все хорошо.

Старик уронил голову на стол, прижался к нему лбом.

– Что говорят?

– Что еще какое-то время будет здесь, а потом переведут. Угроз нет.

Старик тяжело дышал.

– Пап.

– Да.

– Приезжай, а? Она в сознание приходит... Ну сколько можно?

Старик замолчал, облизал пересохшие губы.

– Пап.

Старик не отвечал.

– Пап.

Он отнял лоб от стола, провел рукой по волосам.

– Не... Не знаю, Аня... Не могу.

В трубке помолчали.

– Папа.

– Да?

– Вы – плохие люди. Оба.

И она бросила трубку.

Старик сидел и слушал гудки. Сердце гремело, как молот по наковальне. Он медленно водрузил трубку на место. По телу разливалось какое-то тепло, в голове шумело. Старик встал, сполоснул кружку и поставил ее на полотенце дном вверх. Потом погасил свет, проверил газ – ошупав каждую ручку – и ушел в комнату. Там он, не раздеваясь, лег, укутался в плед и закрыл глаза.

Этажом выше кто-то запел.

Старику снилось, что он идет по берегу – к реке. Песок засыпается в тапки и скрипит. Река светится, над ней ползет неспешно луна. У самого берега качается лодка. Стучат о борт весла, от носа куда-то в песок тянется веревка.

Старик идет медленно, ежится от ночной прохлады, кашляет.

Наконец, он добирается до кромки воды. Тапки тонут в мокром песке, от реки пахнет листвой. Старик делает шаг, другой – и ноги по щиколотку уходят в ледяную воду. Он охает, хватается за влажный борт, перевешивается через него и вползает в лодку, на дне которой хлюпает та же вода. Старик садится и озирается – река пустынна, противоположный берег прячется в тумане, сквозь белое марево моргают еле заметно огни. Он с большим трудом развязывает веревку и бросает ее на берег. Потом кладет ладони на тяжелые весла и пробует грести. Весла спотыкаются, скребут по песку.

Лодка медленно трогается.

Старик шумно дышит и гребет, то и дело оборачиваясь. Но берега не видно, над рекой тянется туман. Хлюпает на дне лодки вода, ногам холодно. Слышны всплески – и вместе с веслами взмывают в воздух ледяные брызги – некоторые из них долетают до щек и обжигают. Старику тяжело и страшно, но он продолжает грести.

Туман окутывает лодку и дальше старик движется будто в молоке. Воздух влажен, старику кажется, что он не дышит им, а пьет его. Далеко вверху появляются и тут же исчезают точки звезд. Старик оглядывается через плечо и видит далеко в тумане огни. Там берег.

Становится холоднее. Старик то и дело бросает весла и дышит на посиневшие ладони. Старается грести быстрее, но лодка ползет как ползла. Грудь точит кашель, зубы стучат. Сердце снова начинает грохотать – раз, два, три. Старик озирается, пожимает ноги, стучит ими по дну.

Когда он уже готов бросить весла, лодка врежется носом в берег. От толчка старик подается назад, изгибается, пытаясь удержаться – и падает вперед, на колени, едва успевая выставить руку перед собой. Не переставая стонать, встает, выпрямляется и, обхватив руками борт, вываливается на песок.

Но берега не видно. Вокруг старика – белая пелена, из нее выглядывает одиноко нос лодки. Старик щурит глаза, машет руками, чтобы разогнать туман. Кричит, зовет на помощь, изо рта при этом вырываются облака пара. Старик, чуть не плача, обхватывает себя руками и медленно, охая и останавливаясь, бредет в сторону огней. Они не приближаются.

Воздух становится все холоднее, в тумане сверкают то ли снежинки, то ли кусочки льда. Старик идет из последних сил, сцепив зубы, зажмурившись. Но идет не долго – ноги его подкашиваются, он оседает на землю и закрывает лицо трясущимися руками. Туман становится гуще, старик несколько раз негромко кого-то зовет – и

тело его начинают сотрясать рыдания. Слезы катятся по щекам на ледяные ладони, с них падают на песок. Сердце гремит.

Вдруг он вскидывает голову – сквозь оглушительные удары он слышит что-то еще. Вытягивает шею. К нему приближаются тяжелые глухие шаги. От каждого – вздрагивает земля. Старик вжимает голову в плечи и ждет. Шаги все ближе – и старик видит сквозь туман исполинский силуэт.

Очертания становятся яснее и, раздвигая плечами пелену, перед стариком возникает могучая фигура в три человеческих роста. Белый мундир, ордена. На поясе – вся в вензелях – сабля. Спокойное, задумчивое лицо. Старику знакомо это лицо, он видел его в телевизоре, о нем говорили двое – помоложе и постарше. Потом еще вступила женщина с бусами и никому не давала вставить слово.

Столыпин смотрит на старика, потом наклоняется и берет его на руки, как ребенка. Старик прижимается к

белому мундиру и молчит, по лицу продолжают катиться слезы. Столыпин делает шаг, еще один – и, не глядя на старика, идет вперед. Перед глазами старика мерцает какой-то орден, блики скользят по краям и тают в тумане. Старик успокаивается и согревается. Подносит ладони к губам и дышит в них. Веки сами собой смыкаются – и он засыпает.

ГНЕЗДО

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» – стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни – белая, теплая и мягкошершавая – будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться – по узенькой лесенке сбоку – и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне – например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеи-

вался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище – древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, побряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет – и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху – иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, – говорит, – руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».

– Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, – смеется отец, – рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

– В голове у тебя рухлядь, – отвечает дед, – а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо – и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке – и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает – весь *там*. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает, да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит – раскатисто, с переливами. Отец тогда выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается – сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла – постояла, да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу – наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце – за забором уже, а облака все горят. Жду.

Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше – густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папaxe остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю, да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просыпаюсь от голосов.

– Не позволю! – скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая выются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

– Батя, – басит он, – ну на что она тебе?

– Не позволю, – бубнит из-за бороды дед. – Вот помру – хоть весь дом разбирайте.

– Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

– Пущай смеются.

– Что ж ты так уперся-то?

– Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальчикам она по душе, – тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

– Чудак ты, батя, стал, – говорит, – совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

– Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жметя ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот – дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец – в верхней одежде, не разувшись.

– Марш спать, – приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

– Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели

– Ты за старшего, – сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.

– Ты куда? – спросил сквозь сон брат.

– В кухню, – и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху – там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим – ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки – и до моего слуха донеслась

более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди – приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл, – и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за

бороды и показывает торжествующе ладони – то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих – и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда – и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.

ЧУДО

Вздрагивали в такт движению бокалы, колыхалось в них вино. За окном тянулись поля, небо на востоке розовело.

Темноволосая девушка лет двадцати восьми, до этого с отсутствующим видом изучавшая пейзаж, встряхнула головой, расправила плечи и обратилась к своему vis-a-vis:

– Что бы там ни было, ради такого вида стоило встать ни свет ни заря.

Vis-a-vis, мужчина средних лет, в безупречном темно-синем костюме, с мягкими чертами лица, улыбнулся несколько смущенно и протянул девушке бокал.

– Надеюсь, мне удастся произвести впечатление.

Тихо соприкоснулось стекло.

– Уверена, у тебя это получится. Я, признаться, даже не пыталась – и не пытаюсь – угадать, что ты придумал

на этот раз. Умение делать сюрпризы – это особый дар, и я до ужаса боюсь испортить впечатление.

Мужчина, не переставая улыбаться, опустил глаза.

– В особенности если ради сюрприза ты привез меня во Францию.

– Когда ты была тут в последний раз?

– Хм. Года три назад, наверное. Но ощущение, будто сто три – не меньше. Да и Париж, знаешь ли, изменился, – этого я совсем не ждала.

– А здесь? Хотя бы проездом?

– Нет-нет, впервые. Очень своеобразное место. Вообще, это один из самых не-французских городов, в которых мне доводилось бывать. Что-то даже не-европейское – едва уловимое.

По небу медленно разливалось золото. Горячие лучи упали на лицо мужчины, он зажмурился, но не отвернулся.

– В таком свете у тебя очень доброе лицо, – улыбнулась девушка. – Не просто доброе, как всегда у тебя, а *очень* доброе. Жаль, мне не даются портреты.

– Разве? Я видел "Аглаю" у Жана. Она прекрасна.

– Не льсти мне, Андрей, это худшее, на что может рассчитывать художник, – она взяла бокал длинными тонкими пальцами и посмотрела на мужчину сквозь сияющее стекло. – Тебе ли не знать.

Он пожал плечами и повернулся к окну, подперев подбородок ладонью.

– Ты слишком скромна, Галя. В этом есть свое очарование, да. Но "Аглая" действительно прекрасна. Хотя, в каком-то смысле я понимаю, о чем ты. Кажется, Кошицкий упоминал в статье, что ты и портреты пишешь, как пейзажи.

– Интересно, что он имел в виду.

Мужчина засмеялся.

– Полагаю, это одно из тех определений, которые не требуют расшифровки.

– Любите вы, люди искусства, запутать простую русскую девушку, – усмехнулась она.

В купе постучали.

– Войдите.

На пороге показался юноша-кондуктор, объявил – по-французски – что поезд скоро прибывает к нужной станции и удалился.

Окно полыхало, горизонт вился изумрудными волнами.

– Не удивлюсь, если ты ждал погоды, чтобы выехать, – проговорила она. – Я права?

– Разве я могу отвечать? – он улыбнулся. – А впечатление?

– Ты прав, извини.

– Как номер? Обслуживание?

– Очень мило. Три дня сна, окно на поле, достойная кухня. Тихо, уютно. И дождь – барабанит по козырьку. Красота.

Раздался рев и рассвет сменился крошечной тьмой – въехали в тоннель. Девушка вздрогнула, вино заметалось по стенкам бокала. Мужчина протянул руку, но она расмеялась.

– Это же и вправду страшно, – с серьезным видом пояснила она, когда снова засияло солнце.

Мужчина пожал плечами. Прижавшись к холму, проплыла и скрылась строгого вида ратуша. Замелькали стога сена, расставленные на манер шахматных фигур.

– Как твой труд? – нарушила молчание девушка.

Мужчина скривился.

– Могло быть и лучше. Но, впрочем, могло быть и хуже.

– Это очень масштабная работа, Андрей. Надо быть ко всему готовым.

– Да, конечно.

По коридору за дверями простучали чьи-то тяжелые шаги. На дальних холмах запестрели домики, сады, то тут, то там выныривали, раскидывая руки в стороны, мельницы – провожали путников удивленными взглядами. Стадо овец рассыпалось пригоршней риса, строений стало больше. Скоро показались первые, робкие улочки, домики стали жаться друг к другу, сады пропали.

– Почти приехали.

– Ничего не буду говорить, – засмеялась девушка, – версий миллион, но я буду молчать до последнего.

Она встряхнула головой, словно пыталась усмирить разбушевавшиеся мысли.

Поезд замедлил ход, теперь их окружал совсем крохотный – точно игрушечный – городок. Здания стояли

плотно – все, как на подбор, аккуратные, низенькие, ясные – не выше трех этажей. Тихие улочки тонули в зелени. Поднимая пыль, скрылась за углом телега.

Поезд шел все медленнее, медленнее – и наконец, проплыв городок насквозь, охнул и остановился на самой окраине, на полустанке, представлявшем из себя прямоугольник асфальта с двумя резными лавочками.

– Стоп-машина, – мужчина поднялся и протянул спутнице руку.

Она склонила голову набок, встала. Вошел кондуктор с багажом.

– Принимаю, – мужчина подхватил вещи и вышел.

Девушка всплеснула руками, надела песочного цвета шляпку с лентами, до этого покоившуюся на полке, и шагнула следом. Узкий коридор, устланный ковром, шеренга закрытых дверей, опрятный тамбур – и они оказались на залитом солнцем полустанке. Над головами зве-

нело, переливаясь тысячей красок, небо, изредка по нему пробегала рябь бледных невесомых облаков.

– Как хорошо, – и девушка, закрыв глаза, вдохнула холодный, пьянящий воздух.

Веяло цветами, влажной от росы травой, пряной дорожной пылью. Всхрапывая, отполз в сторону и исчез за холмом поезд – мир окутала густая, плотная тишина, сплетенная из множества звуков. Шумела листва, разливалось птичье пение, стукнули где-то ставни, залаяла собака.

– Прошу за мной, – мужчина галантно склонился и выставил в сторону локоть.

Девушка посмотрела рассеянно, кивнула.

– Даже голова закружилась, – сказала она с усмешкой.

Мужчина посмотрел встревоженно:

– Все в порядке?

– Разумеется, – она повела плечом. – Воздух, все воздух. Идем?

– Можем посидеть немного.

– Нет-нет, ни в коем случае.

И они, под руку, сошли с полустанка на тропинку, убегающую к улицам. В траве пели кузнечики, воздух становился теплее.

На полпути к ближайшим домам тропинка вонзилась в каменистую дорогу. У обочины стояла покосившаяся телега, бурая лошаденка сонно топталась в траве, вздрагивая гривой. Рядом, заложив руки за спину, шагал вперед-назад седой старик в помятом сюртуке и курил трубку.

– Наш транспорт, – сообщил мужчина спутнице.

Девушка перевела взгляд с лошади на старика и усмехнулась. Старик снял шляпу, склонил голову, проскрипел витиеватое французское приветствие. Потом

вытолкнул откуда-то небольшой деревянный ящик и услужливо придвинул его к телеге.

– Будьте любезны, – сказал мужчина.

Девушка, едва сдерживая улыбку, театрально приняла его руку, встала на ящик и, обернув подол платья вокруг ног, села на плед, заботливо укрывающий край телеги.

– Будем ехать и болтать ногами, – засмеялась она.

– Непременно.

Он уселся рядом и пристроил саквояж, с которым до сих пор не расставался, себе за спину – там уже лежали какие-то вещи. Старик, кряхтя, обошел экипаж, – поравнявшись с девушкой, он вновь приподнял шляпу и поклонился, – влез на свое место, взял вожжи и, негромко прикрикнув, пустил лошадь шагом. Телега заскрипела и тронулась.

Ползли, подскакивая на каждой кочке, смеясь и хватая друг друга за руки. Из-под колес поднимались клубы пыли, старик, не переставая, дымил трубкой, а в воздухе висел горький травяной пар. Проехали совсем немного, и дорога раздвоилась – телега, свернув в сторону, двинулась вправо, огибая городок.

– Это недалеко. Но я подумал, что будет уместно... перемещаться так.

– Вне всякого сомнения.

День обещал быть жарким. По левую руку старика толпились робко домики, по правую – сливались в пестрый вихрь поля и рощи. Небо было беззаботно чистым, солнце неторопливо взбиралось по своей лестнице.

– Не думала перебраться к нам насовсем? – спросил, взмахнув руками на очередном ухабе, мужчина.

– К вам?

– Ну, сюда. В Париж, в Берлин. В Европу.

Девушка придержала рукой шляпку.

– Думала, разумеется.

– И?

Она поджала губы, помолчала.

– Пока не знаю.

Потом повела плечами, словно сбрасывая с себя что-то давящее, тягостное, насколько позволяла обстановка, выпрямила спину и повернулась к собеседнику.

– Я ведь русский художник, Андрей, – засмеялась она, глядя ему в глаза, – я – снежная буря! У-у-у!

И, сорвав шляпку, она замахала ею перед его лицом, но в следующее мгновение запнулась и перевела взгляд на холмы.

– Или колокольня. Где поставили – там и стоит.

Он молчал.

– А вообще, – она запрокинула голову и закрыла глаза, – к чему все эти рассуждения? Говорим, говорим, определяем...

Она зажмурилась и ее лицо засветилось.

– О чем можно говорить под таким солнцем, Андрей Феликсович? Что мы – она сделала упор на "мы" – можем сказать?

Он, было, раскрыл рот, но она его остановила.

– Нет. Я серьезно. Давай молчать. Я такого солнца уже много лет не видела. Или – не смотрела. *Так.*

Мужчина развел руками, потом задрал подбородок и сдвинул шляпу на затылок.

И всю оставшуюся дорогу они молчали. Молчали до тех пор, пока телега со стоном и содроганием не остановилась. Старик что-то отрапортовал.

Мужчина тут же соскочил на землю.

– Так, – проговорил он смущенно, – сейчас я попрошу тебя... Прозвучит глупо, но я попрошу позволить завязать тебе глаза.

Она наигранно сдвинула брови, тут же рассмеялась.

-Позволь сперва хотя бы приземлиться.

Мужчина засуетился, обратился к старику – и на дороге вновь возник пыльный деревянный ящик. Девушка спустилась, пригладила волосы, поправила шляпку.

– Валяй, – воскликнула она, смеясь, – но помни: в случае чего общественность тебя не простит.

– Господь с тобою, Галя.

Он достал из кармана шелковый сиреневый платок и с извиняющейся улыбкой протянул. Она свернула ткань вдвое, приложила к лицу и завязала на затылке.

– Держись за мою руку.

– Будь столь любезен.

Старик стащил с телеги багаж, и все трое двинулись. Сперва шли по ровному, но скоро дорога ухнула вниз и потекла по пригорку. Спустились, прошли еще немного. Наконец, мужчина остановился.

– Есть, – сообщил он. – Подожди еще немного, пожалуйста.

Он высвободил руку, принял от старика поклажу и стал что-то обустраивать.

– Краски? – засмеялась девушка, – я слышу стук красок в коробке?

– Терпение, Галя, терпение.

Он прекратил возиться и подошел к ней.

– Так... Сделай шаг вправо... Еще один... Немного отступи... Еще немного... Еще... Погоди секунду... Да, вот. Готова?

Она молчала.

– Можешь снять.

Она помедлила, потом стянула повязку и с вызовом подалась вперед.

Напротив нее стоял мольберт с чистым холстом. На складном стульчике рассыпались краски, белела палитра. Рядком поблескивали кисти. Она прищурилась, перевела взгляд с холста на пейзаж за ним – и ахнула. Брови взлетели вверх, она закрыла рот ладонью. Потом подняла обе руки и спрятала в них лицо.

– Это невозможно.

Мужчина молчал, улыбка застыла на его губах, но во взгляде читалась едва уловимая тревога.

– Это невозможно, – повторила она и замотала головой. Потом медленно опустила руки и замерла.

Они стояли на возвышении. За мольбертом расстиралось жгуче-зеленое поле, срывавшееся куда-то вниз и открывающее далекий, тонущий в голубой дымке вид. Внизу, до самого горизонта, насколько хватало взгляда, тянулся бархат лесов. Поле с правой стороны упиралось

в рощу, с левой уходило вдаль и растворялось. Прямо перед ними, в некотором отдалении, стоял домик с мансардой. Цвет его скользил между зеленою и лазурью, краска кое-где трескалась и топорщилась бахромой. Крылечко, увитое плющом, неуверенно спускалось к дорожке. За невысоким забором темнела сирень. Слева к крыше прижималась пышной кроной яблоня.

Девушка стояла, не шевелясь. Глаза ее блестели.

– Как это возможно, Андрей? Это же невозможно.

– И однако же, – кротко промолвил он.

Она судорожно обернулась.

– Ты его построил. Ты его выстроил с нуля. Так?

Он покачал головой.

– Ты врешь, Андрей. Или у меня галлюцинации. Мсье! Вы тоже это видите? – крикнула она по-русски, но старика рядом не было.

Яблоня качалась и словно гладила домик, ветви ее тянулись к круглому окошку мансарды.

– Конечно, – заговорил мужчина, – пришлось несколько изменить крыльцо, переложить черепицу. Но в остальном все именно так, как и было когда я... наткнулся на него.

Она сняла шляпку, прижала к груди.

– Но... Как? И холм, и лес... Яблоня... Поле. Это же невероятно. Все один в один как на фотографии. Да и в жизни...

Она тряхнула волосами и заозиралась.

– Ты привез меня в Россию? Мы в России?

Мужчина улыбнулся, склонил голову набок, не ответил.

– Тогда я не понимаю... Впрочем, что Россия... Его же снесли давно, – она вдруг замолчала и по лицу ее пробежала тень. – Андрей! Его же снесли давно!

– И однако же – мужчина развел руки в стороны.

Потом он тихо рассмеялся.

– Я знал, что тебя это впечатлит.

– Впечатлит? – выдохнула она. – У меня голова кружится, дай мне сесть. Хотя нет... Не нужно.

Она сделала шаг вперед, остановилась. Повесила шляпку на угол мольберта. Сложила руки на груди, потом подняла их, нервно коснулась губ кончиками пальцев, да так и осталась стоять, не сводя с домика встревоженного взгляда.

Несколько минут прошли в молчании. Где-то за холмом заржала лошадь. Из-за рощи, на западе показались лохмотья облаков.

– Погодите, миленькие, – прошептала она чуть слышно, не убирая рук от лица – дайте наглядеться.

– Ты не будешь писать? – тихо спросил мужчина.

Она помедлила с ответом, всматриваясь в домик.

– Нет... Наверное, не буду. Не смогу.

Мужчина пожал плечами, сделал несколько шагов назад и уселся на землю. Потом оглянулся, сорвал какую-то травинку; зажав ее зубами, откинулся на спину и остановил взгляд на синем куполе неба.

Повисла тишина.

Белое сияющее яблоко сорвалось с ветки, со стуком прокатилось по крыше домика, ударилось о скат крыльца и исчезло в траве.

– Боже мой. Точь-в-точь. Точь-в-точь. Разве так бывает?

Трава пошла рябью, налетевший ветер принялся трепать выглядывающую из-за ограды сирень. Птичья стая пересекла небо и исчезла за лесом. Девушка стояла, не шевелясь.

– Кто здесь... живет? – спросила она.

Мужчина надвинул шляпу на лоб.

– Премилые старики.

– Они... дома?

– Не могу знать. Они предупреждены о нашем визите, и я, конечно, попросил на некоторое время, так сказать...

– Боже, как неловко.

– Отчего же? Я им все объяснил и, поверь, они заинтересовались не меньше моего. Почтенный глава семейства лично помогал перестраивать крыльцо.

– В голове не укладывается, – медленно протянула она.

Снова повисло молчание. Ветер дотянулся до мольберта, и ленты на шляпке затрепетали.

– Хочешь познакомиться? – Подал голос мужчина.

– С кем?

– С хозяевами.

Молчание.

– Нет, нет. Не хочу.

Облака медленно тянулись над темно-зеленым морем лесов – и ровную гладь пейзажа накрывали широкие тени. С западного края небо уже не голубело.

– Нам очень повезло, – сообщил, привстав на одном локте и поправляя шляпу, мужчина. – Кажется, будет дождь.

– Да, – кивнула она. – Будет.

Она стояла в той же позе, и только взгляд претерпел изменения – теперь в нем была тоска.

– Это ведь чудо, Андрей, – сказала она, наконец. – Настоящее чудо. О таком пишут в книгах. О таком в старости рассказывают внукам.

– Согласен с каждым словом.

– И мы так просто... То есть... Вот, мы видим это – здесь, сейчас... И...

Она не закончила.

– Думаю, я понимаю тебя, – сказал он.

Солнце озаряло облачную пелену. За рощей от облаков тянулись вниз широкие темные полосы – там уже лил дождь. Яблоня как-то по-особенному качнулась, отпрянула – и мансардное окошко засияло огнем, отражая солнечные лучи. Она вздрогнула и плотно сжала губы.

Ветер усилился. Ленты, травинка в зубах мужчины, непослушная прядь, выбившаяся на высокий лоб девушки, подол платья – задрожали, забились. Шляпка качнулась и, соскочив с мольберта, покатила по траве. Мужчина бросился в ее сторону, но девушка его остановила.

– Не надо. Пусть, – сказала она, не отрывая взгляда от домика.

Шляпка замедлилась, словно прислушиваясь к хозяйке, тут же подпрыгнула и увлекаемая ветром, кувыряясь и цепляясь за траву, устремилась куда-то в сторону рощи.

Уже половина неба была затянута. Облака мрачнели, утяжелялись, уступали место грузным, медлительным тучам. От рощи доносился шум, кроны раскачивались и теснили друг друга.

Послышались нетвердые сухие шаги, из-за холма показался старик-извозчик, обращаясь к мужчине, что-то прокричал. Мужчина кивнул, что-то крикнул в ответ, старик исчез.

– Я могу попросить его подождать.

– Нет-нет, не нужно. Пора, – проговорила девушка.

На домик упала тень. Мансардное окно погасло, сирень потускнела. Девушка опустила руки, зажала в кулаках складки платья и, с видимым усилием, отвернулась. Лицо ее было бледно, она часто дышала.

– Галя. Все в порядке?

Она заставила себя улыбнуться.

– Да, да. В полном.

Несколько холодных капель долетели до них и упали в траву.

– Идем?

– Да. Секунду, – мужчина спешно подошел к мольберту, собрал его, уложил, ссыпал туда же краски и кисти.

– Готово.

Девушка, глядя себе под ноги, двинулась вверх по тропинке. На вершине холма остановились. Сюда еще падали лучи, но повсюду уже блестели в этих лучах жемчужины капель.

– Должен тебя предупредить: я не позаботился о зонте.

– Это ничего.

Она не двигалась – стояла спиной к домику. Мужчина хотел что-то сказать, но не решился, отошел в сторону и стал ждать. Видно было, что ее терзает какая-то

мысль. Наконец, она вскинула подбородок и рывком обернулась.

Домик смотрел печально. Яблоня – то ли от ветра, то ли от добравшегося до нее дождя – выглядела понурой, поблекшая листва распластались по крыше, и казалось, что дерево утешает дорогого друга. Роща гудела и вздыхала, даль тонула в серо-зеленой мгле, нить горизонта едва угадывалась. Солнце одним своим краем уже вонзилось в тучу, но не прожгло ее, а, будто бы смирилось и умерило пыл. Еще несколько минут – и оно скрылось из виду, в последний момент качнувшись и рассыпав вокруг себя сноп огня.

Окошко, едва заметное за сиренью, озарилось ровным теплым светом – в доме зажгли лампу.

Девушка, до этого нервно теребящая поясok платья, кивнула и развернулась.

– Идем, Андрей.

И она решительным шагом двинулась к застывшей неподалеку телеге.

Когда тронулись, дождь усилился. Сверкающие нити мяли траву, стучали мелко по бурой лошадиной спине, били по шляпе старика, не обращавшего на непогоду ровным счетом никакого внимания. Мужчина стянул с себя пиджак и укрыл им девушку – с головой. Она сидела, опустив плечи, растрепавшиеся волосы прилипли к щекам, она смотрела на убегаящую из-под телеги дорогу и молчала.

– Галя.

Она вздрогнула.

– Ты расстроилась. Извини.

Она, не глядя на него, улыбнулась.

– Тебе не за что извиняться, милый Андрей. Я просто не знаю, как себя вести и что говорить.

Она взялась за края пиджака и укуталась в него, насколько это было возможно. Из-под скрипящих колес вылетали брызги грязи, дорога постепенно превращалась в серую кашу.

– Тогда, в детстве, – заговорила она, сохраняя на лице тихую улыбку, – когда ночью яблоки падали на крышу, вот как сейчас мы видели, я представляла, что это не яблоки, а звезды.

Мужчина рассмеялся.

– Конечно, я знала, что это яблоки. Но зажмуривалась – и твердила себе: это звезда, это звезда. Звезда упала на нашу крышу и скатилась по ней к крыльцу. Если выглянуть в окошко, увидишь ее в сирени – мерцающую, горячую.

– Ты выглядывала?

– Один раз. Видимо, яблоко куда-то закатилось, я ничего не увидела – и впредь решила не рушить сказку. Это стоило немалых усилий, но они окупались.

Помолчали немного.

– Ох, краски могут намокнуть, – встрепенулся мужчина и принялся прятать саквояж куда-то вглубь телеги.

– Пускай себе мокнут, – безразлично протянула она.

Всхрапнула, споткнувшись, лошадь, телегу тряхнуло.

– И ведь даже ракурс подобрал, расстояние отмерил. Ай да Андрей! – воскликнула она. – Вот что значит взгляд художника! Ведь не копию же ты делал!

Мужчина скромно опустил глаза, покачал головой.

– Ну, это ведь не просто фотография, – сказал он, подумав. – Еще до того, как увидеть ее, я знал, как много она для тебя значит.

– Откуда?

– Рассказывали. Висит, мол, в студии карточка – в рамке. Домик, яблоня, роща. Из этого, дескать, домика наша звездочка и возшла.

Он вдруг спохватился и замолчал, виновато посмотрел на нее. Она усмехнулась и покачала головой.

– И эта, дескать, фотография, нашей Гале очень дорога.

Она вздохнула.

– Дорога.

Вдали показались огоньки – приближался городок.

– Эта фотография, Андрей, – все, что осталось у меня от того домика. И от детства, – она помолчала. И от мамы.

Огоньки становились ярче, можно было различить очертания крыш. Дождь притих, моросил как бы нехотя, через силу. Над холмами солнце пробилось сквозь тучи и расчертило серое марево сияющей спицей луча.

Когда добрались до поворота, от которого к полустанку убегала знакомая тропа, и старик, остановив теле-

гу, принялся хлопотать о багаже и пассажирах, откуда-то издалека донесся гудок поезда.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОДИНОЧЕСТВА

(История одного обольщения)

Закончилась Рождественская служба. Я шагнул в густую морозную ночь, она подхватила, укутала хрустящим льдом воздуха. Из храма выходили сонные, но радостные люди, заматывались в шарфы, водружали на головы увесистые шапки.

Я спустился по ступенькам, сделал несколько неловких шагов и повернулся к храму. Он возвышался величественным гигантом – весь сотканный из стремительных линий, вытягивающийся вверх, к небу, добрую часть которого он от меня закрывал.

"Как хорошо, – подумал я. – Храм на фоне звезд. Все на своем месте".

Сверкающим куполом накрывала нас ночь.

Внезапно звезды вздрогнули и будто даже подпрыгнули – каждая на своем месте. Воздух задрожал от гро-

могласного колокольного звона, а ночь замерла, затаила дыхание. На многие километры вокруг – в космос, в промерзшую землю расходились кругами могучие торжественные звуки.

Я стоял, запрокинув голову, будто окаменевший, и смотрел на храм, возведенный посреди звездного неба, на строгий Лик Спасителя, на Архангелов, склонивших свои прекрасные головы. Я растворился в звоне, и душа моя птицей кружила между звезд, обнимая их и увлекая в хоровод.

А из храма продолжали появляться люди. Они обрачивались, крестились и расходились. Они проходили мимо меня, и сердце мое дрожало от непонимания:

– Люди! Не уходите! Остановитесь! Посмотрите на это чудо! Посмотрите, как ликует звезды, как склонились над нами небеса, как они внемлют этому дивному звону! Посмотрите, как прозрачна и благоговейна ночь!

Но люди шли мимо. Я хотел броситься им навстречу, преградить путь, ухватиться за куртки, растянуться посреди дороги, но остановить это вопиющее безразличие, эту ужасающую глухоту. Как же можно вот просто так, спиной к храму, да восвояси, когда тут – колокола, звезды, небо!

Конечно, я никого не остановил. Я стоял, запрокинув голову, и краем глаза видел, как иссякает людской поток, как последние запоздавшие прихожане щурятся от мороза и ежатся в своих пуховиках. Еще чуть-чуть, и я остался один на один с небом. Мое одиночество искоркой взвилось в воздух.

Через какое-то время колокола взяли последнюю ноту. Ночь бережно пронесла на руках угасающий гул, воздух дрожал. Несколько секунд – и наступила тишина. Я стоял вытянутый в струну. Над головой укладывались спать потускневшие звезды. Храм молчал.

Я вздохнул, перекрестился, и, сжимая в руке шапку, развернулся

За моей спиной стояли люди – те, которым я не решился броситься под ноги – в их глазах читалась Рождественская радость и теплая, светлая грусть от того, что чудо, которое они только что наблюдали, закончилось. Я неодобрительно покосился на искорку моего одиночества – она тлела на кромке фонаря – и смущенно двинулся в сторону дома.

САМОЕ ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

(История одного открытия)

В новогоднюю ночь не выпало ни снежинки. Вспышки салютов озаряли асфальт, стены и чёрные ветви деревьев.

Утром первого января жена одела дочку – год и два месяца – вложила ее лапку в мою ладонь и наказала:

– Там не холодно, гуляйте не меньше часа. А я пока приготовлю обед.

И мы отправились.

Было около одиннадцати. В подъезде пахло чем-то сладким, возле мусоропровода стоял аккуратно замотанный пакет с мусором. В лифте дочка приветствовала старого знакомого – наклейку с котенком в углу зеркала. В другом углу – «Счастья в новом году!»

Улица встретила нас тишиной. Было светло. Всеми своими четырнадцатью этажами тянулись к приветливо-

му небу дома, заурчал важно прошагавший мимо нас голубь. Кроме нас и голубя во дворе никого не было. Мы отправились к месту постоянных прогулок – гимназии, расположившейся в центре микрорайона.

Пока шли вдоль дороги, считал проезжавшие мимо машины. Раз, два, три. И тишина.

На подходе к гимназии – а ограду надо обойти по периметру, так как на выходные все ворота кроме центральных закрываются на замок – нас обдало ветром, который, вероятно, бежал от реки да заблудился во дворах. Дочка зажмурилась и завертела головой. Но ветер был совсем не холодный. Чирикнула где-то наверху птица и я впервые за долгое время вспомнил о том, что за зимой последует весна.

– Карр! – пропищала дочь, коверкая «р».

– Птичка, – согласился я.

И тут же дочь заголосила:

– Дядя! Дядя!

Дядя – это снеговик. На крыльце гимназии стоят два снеговика, слепленные детворой из автомобильных покрышек и выкрашенные в белый.

– Дядя, – соглашаюсь. – А что у дяди на голове?

На шляпе одного из снеговиков – гнездо из мишуры, похожее на кустик каких-нибудь цветов.

Дочь сопит носом.

– Цветики, – подтверждаю.

Дочь тянет ручки – поскорее бы к «дядям». Но до центральных ворот еще идти и идти – и дочь начинает тихо хныкать.

– Январский лед сиянье льет, – декламирую я. – Январский наст пропасть не даст. Январский снег... Январский снег. Здравствуйте.

Мимо нас проходит соседка с внучкой. Девочка прижимает к груди тряпичного зайца.

– С новым годом, – улыбается соседка.

– С новым годом, – улыбаюсь я.

Дочка заинтересованно смотрит на удаляющегося зайца, потом утыкается в мои колени и тянет ручки – надоело идти. Понимаю и поднимаю.

До ворот добирались, задрав головы – искали, кто это там чирикает. Не нашли. Снова пахнул ветер – и по воздуху разлился какой-то тонкий душистый аромат. Вероятно, дотянуло от реки.

– Январский снег красивей всех, – сообщаю я дочке и целую ее в раскрасневшуюся щеку.

– Па-па, – сообщает она.

У ворот не могли разминуться с семейством – парень, девушка и бутуз в комбинезоне.

– С новым годом, – говорю.

– С новым годом, – отвечают. И пропускают нас.

– Нет-нет, что вы, – говорю, – проходите, пожалуйста.

И делаю шаг назад. Бутуз смотрит на меня и машет рукавицей, словно тоже пропускает. Дочь удивленно наблюдает за происходящим.

– Проходите-проходите, – любезничают родители.

Я пожимаю плечами, крикаю что-то в благодарность – и мы заходим. Площадка, выложенная плиткой, несколько ступеней и – финишная прямая. Широкая дорога, упирающаяся в крыльцо с «дядями». Я опускаю дочь на ноги, она растопыривает ручки и рвется вперед. Иду следом, страхуя за капюшон.

Перед гимназией в хаотичном порядке курсируют дети с родителями. Взрослых детей нет, самые маленькие спрятаны в коляски. Стоит тишина. Если посмотреть вправо, за оградой видно реку. За рекой жмутся друг к другу дома, надо всем аркой выгибается светлое весеннее небо.

С березы на березу пересыпается ватага воробьев – пищат и свистят.

– Карр!

Где-то во дворах запела сигнализация, протарахтел вдалеке одинокий автомобиль.

– С наступившим! – окликнули меня.

– И вас, – кланяюсь знакомому старичку из дома напротив. Он согнулся почти вдвое и держит за руку девочку, делающую первые, неловкие шаги. Девчушка закутана так, словно ее собирали на северный полюс. Старичок выгибает шею, смотрит на меня ликующе.

– А мы вот, – говорит, – ходим.

– Ну, вот какие вы молодцы, – говорю.

Подхватываю дочь за подмышки и ставлю перед девочкой.

– Поздоровайся с девочкой.

Смотрят друг на друга настороженно.

– Ну, ручкой помаши, – подсказываю, наклоняясь.

Дочь шевелит рукой – неудобно, в зимнем-то. Потом поворачивается и спешит к крыльцу. «Дяди» не ждут. Я спешу следом, на ходу разводя руками.

– Бегите-бегите, мы вас догоним, – заверяет старичок.

Асфальт усыпан последствиями празднования. Трубки хлопшек, бумажки. Много окурков.

У самого крыльца дочь споткнулась – успел подхватить.

– Будьте аккуратней, – назидательно обращается ко мне проходящая мимо пожилая дама. Она одной рукой толкает перед собой лиловую коляску, а другой крошит на асфальт хлеб. За ней по пятам следует голубиная делегация – но не скачет друг по дружке, трепыхая крыльями, как обычно, а проявляет невиданную деликатность

и размеренность. Дочь видит голубей – и семенит в их сторону.

– Карр!

Голуби бросаются врассыпную, но все равно как-то смирно, вежливо. Дама наклоняется и поправляет очки.

– Это сколько же вам?

– Год и два, – отвечаю.

– Вот и молодцы, – говорит с улыбкой. – С новым годом.

– Спасибо, и вас.

Небо совсем светлое – и на землю падают полупрозрачные тихие лучи.

У снеговиков нас встречают близнецы лет двух. Они толкаются, лепечут что-то и спешат в разные стороны. Высокая женщина в шубе и меховой шапке пытается их удержать рядом с собой. Увидев нас, она улыбается и подмигивает дочери.

Но той нет дела до женщины в шубе. Она несется к «дяде» и утыкается варежками в белый резиновый бок.

– Дядя!

– Дядя, – говорю я.

Снеговик улыбается во все свои четыре наклеенных зуба и смотрит ликующе вдаль. На его шляпе шевелится от ветра малиновая бахрома, похожая на актинию – это такие подводные растения, населяющие коралловые рифы. Дочь усердно сопит носом. Я беру ее на руки, подношу к шляпе – и она, смеясь, гладит варежкой бахрому.

– Цветики, да, – подтверждаю я.

Близнецы сталкиваются лбами, поднимают крик. Женщина в шубе охает и принимается их успокаивать. Дочь смотрит непонимающе.

В это время на ступени откуда-то ссыпаются воробьи – они суетятся, снуют туда-сюда и склеивают какие-то крошки. Близнецы замолкают.

– А вот и мы, – слышу я знакомый голос и вижу ликующего старичка, согнутого вдвое. – Догнали!

Девчушка смотрит на нас из своей полярной амуниции и складывает губы трубочкой.

– Помаши девочке, – обращаюсь я к дочери.

Она, не сгибая руки в локте, семафорит и тоже складывает губы в трубочку.

– Вот ведь понимают друг друга, – кряхтит удивленно старичок, сгребая девчушку в охапку и поднимая на крыльцо. – Чудной такой народец!

– Чудной, – соглашаюсь я.

Мы стоим и смотрим, как девчушка топчется перед снеговиком, не решаясь подойти.

– А что это у него на голове, смотри-ка, – причитает старичок. – Трава какая-то или что?

Мы раскланиваемся и спускаемся с крыльца.

– Карр! – комментирует дочь воробьиною суету.

Мы проходим мимо резвящихся близнецов, сворачиваем в сторону и двигаемся вдоль кустов, огибая гимназию. На кустах, привязанные к тонким голым веткам, висят раскрашенные школьниками музыкальные диски. Они медленно крутятся от ветра и сверкают блестками. Кажется, еще чуть-чуть – и зазвенят.

Сворачиваем за угол, проходим немного – и перед нами открывается стадион, покрытый серо-желтой пожухлой травой. Прошлогодней. По кругу, растянувшись в грандиозное кольцо, размеренно движутся мамы с колясками. По стадиону вьется ветер и ерошит траву.

По левую руку от нас – стена высоток. В некоторых окнах мигают гирлянды. Справа – за оградой – река. Тянется еле заметно, отражая в себе переливающееся светлое небо. Стоит нежная, хрупкая тишина. Мы вклиниваемся в кольцо, идем – но через несколько шагов дочь оттапливается и просится на руки. Поднимаю – идем дальше.

На самой середине реки что-то сверкает. Плышет. Я пытаюсь разобрать, что именно, но не получается. Бутылка или что-то вроде того.

Прочертили полукруг и остановились у дальнего конца стадиона. Здесь в ограде выломаны несколько прутьев – и летом сквозь образовавшуюся дыру снуют ленивые пляжники, срезающие путь.

За рекой волнами вьётся город, дома растут прямо на холмах, то прячутся за деревья, то выныривают. Город кажется неподвижным и тихим, будто приклеенным к основанию переливающегося неба.

– И так подходит для пиров и встреч любой из вечеров... – тихо сказал я и посмотрел на дочь.

Она спала, как-то хитро опершись на мое плечо. Спала практически в вертикальном положении. Я ойкнул и принялся ее тормошить.

– Доченька. До-чень-ка. Не спи, пожалуйста.

Она приоткрыла один глаз, посмотрела на меня недовольно, закрыла, потом нахмурилась и склонила голову в твердом намерении разжиться отличным дневным сном. Загвоздка состояла в том, что сон – это дело хорошее, но наслаждаться им следует дома, в кроватке со слониками, а не посреди улицы на моем плече.

Я снова ойкнул, перехватил дочь на другую руку и понесся обратной дорогой, причитая на ходу:

– Январский лед сиянье льет, январский наст...
Здравствуйте, с новым годом вас... Пропасть не даст...
Январский снег... Красивей всех...

Провожаемые насмешливыми взглядами мамочек покинули стадион, пронеслись мимо расписанных музыкальных дисков, миновали крыльцо.

– Смотри, – предпринял я отчаянную попытку, – дяди!

Но даже снеговикам не удалось заинтересовать маленького человека, решившего вдруг уснуть. Я поискал

глазами старичка с девчушкой – чтобы попрощаться и еще раз обменяться поздравлениями – но их нигде не было. Одним махом одолели дорогу до ворот, потом обогнули гимназию и ворвались во дворы. Людей вокруг стало больше, попадались те, кто почему-то вышел на улицу без детей. И все же основной контингент составляли представители «чудного такого народца» и их сопровождение.

– Это называется «глобальное потепление», – услышал я важный голос, обернулся и увидел, как мужчина в осеннем пальто и очках поучает мальчугана, прижавшегося к его руке.

– И так подходит для пиров... – пробормотал я и поднажал.

Закончил строку я уже у подъезда, набирая номер квартиры.

– И встреч... Ага, мы...

Я распахнул дверь и перед тем, как скрыться за ней, обернулся.

– Любой из вечеров.

Во двор плыл сверху вниз робкий, полупрозрачный снежок.

МОРЕ

(Фантастический рассказ)

В лаборатории было тихо и прохладно. Распахнутое окно смотрело во двор, почти вплотную прижимаясь к могучим елям. Утро было солнечное, свежее, вдалеке гудели чуть слышно автомобили, не нарушая при этом общего ощущения тишины. В воздухе пахло электричеством и спиртом, столы, приборы, мониторы сияли начищенные до блеска и словно радовались наступающему дню.

У самого окна, спиной к елям, ежился над микроскопом сухонький старичок в белом халате. Тонкие длинные пальцы ловко орудовали пинцетом, старичок причмокивал, поджимал губы и мурлыкал из-под щетки усов какую-то мелодию.

За окном защебетали птицы, старичок оторвал взгляд от окуляров, выпрямил спину, блаженно закрыл глаза, улыбнулся и глубоко вздохнул. В этот момент в

коридоре слышались торопливые шаги. Старичок снова вздохнул – на этот раз с досадой. Шаги приближались, переросли в топот, загремели совсем близко – старичок зажмурился в надежде, что источник шума минует лабораторию – дверь распахнулась, и на пороге возник высокий брюнет спортивного вида в белом же халате. Полы халата взвились от сквозняка, шею старичка обдало холодом, бумаги на столе зашевелились негодуя. Брюнет тяжело дышал, глаза его сверкали.

– Профессор! – закричал он, – Аркадий Николаевич!

Старичок медленно отложил в сторону пинцет.

– Чего тебе, Сережа?

Брюнет в два шага пересек лабораторию, потом обернулся, кинулся к двери и захлопнул ее. И снова оказался перед старичком.

– Аркадий Николаевич, – прошептал он, – это... это невероятно.

– Что невероятно, Сережа?

– Я вчера... задержался... засиделся опять...

– Сережа... – неодобрительно покачал головой профессор, – ты много работаешь. Не жалеешь себя.

Брюнет махнул рукой.

– Вы и представить себе не можете, Аркадий Николаевич... это фантастика.

Профессор молчал.

– Засиделся я... – продолжал брюнет, – за Мелиховским проектом... до ряби в глазах считал. Потом, надо, думаю, отвлечься...

Он остановился, расправил плечи, взъерошил волосы. Затем сунул руку в карман халата, выудил оттуда здоровенную завитую рогом ракушку и выложил ее перед профессором, едва не повалив микроскоп.

– В общем, вот.

Профессор нахмурился и аккуратно отодвинул микроскоп в сторону. Потом вопросительно посмотрел на брюнета.

– Это ракушка из старого кабинета, – пояснил тот.

– Я ее узнал, Сережа. Ее Виктор Викторович из отпуска привез.

Ракушка была изящная, бело-коричневая, с торчащими по одну сторону зубцами. Другая сторона заворачивалась в самую себя нежным розовым гляncем.

– В этой ракушке... – брюнет понизил тон, выпучил глаза и выдохнул. – Море.

– Море?

– Море.

За окном раздался щебет, профессор вздохнул горестно и потер переносицу.

– Сережа, – протянул он, – либо изъясняйся понятнее, либо оставь меня в покое. Можешь взять выходной,

– прибавил он, сделав паузу, – ты как будто бледнее обычного.

Брюнет снова взъерошил волосы, потом вдруг развернулся и заходил по лаборатории.

– Аркадий Николаевич, – заговорил он, наконец, отчеканивая каждое слово и стараясь вести себя как можно спокойней, – надо, думаю, отдохнуть. Пошел, сделал кофе, полистал какую-то ерунду, которую Миша на столе забыл. Потом стал по стеллажам прохаживаться. Вижу – ракушка эта. Я на нее никогда особого внимания не обращал – ракушка и ракушка. А тут взял, давай в руках вертеть. Вспомнил, как в детстве мы их к уху прикладывали, море слушали. Приложил – слушаю. Шумит, значит. Хорошо так шумит. Я – забавы ради – пошел к себе, подключил щуп с камерой, да и давай его в ракушку заталкивать. Какой-то даже азарт взял – до самой сердцевины, дескать, долезть, до упора. Пыхтел, сопел, вспотел даже, раз десять заднюю давал – но долез-таки. Да так долез, что чуть в обморок не упал.

Профессор молчал.

Брюнет хлопнул в ладоши и даже на носочки встал.

– Да что рассказывать! Вы сами убедитесь! Здесь или у меня – без разницы. Хотя лучше у меня – там приборы посвежей.

Профессор долго смотрел на брюнета, затем встал. Прошагал через лабораторию до двери, застыл перед ней на мгновение – и отворил рывком.

Дверь дернулась, описала положенную дугу и ударилась ручкой о стену коридора. Профессор медленно выглянул, посмотрел налево, потом направо. Обернулся, прищурил глаза.

– Сережа, – протянул он, – я пойду только потому, что на тебя это не похоже. Но если это какой-то розыгрыш... Клянусь...

И он потряс кулачком.

Брюнет подбежал к нему, схватил за кулак и затряс его в своих огромных ладонях. Потом отскочил к столу, схватил ракушку и прижал к груди.

И они направились в так называемый «старый кабинет». Солнце заливало тихие коридоры, барельефы на стенах темнели и изгибаясь. Они изображали ученых с колбами, инженеров с гаечными ключами, прекрасных космонавтов в скафандрах. Барельефы как бы говорили: «Колба и ключ – вот и все, что нужно человечеству».

На четвертом этаже встретили Лену Ивушкину.

– Леночка, доброе утро, – остановил ее профессор. – Как твой проект?

– Ничего, Аркадий Николаевич. Двигается потихоньку.

– Это хорошо, что потихоньку, – одобительно покачал головой профессор. – Наука спешки не любит.

И они двинулись дальше.

«Старый кабинет» представлял собой сумрачное помещение с окнами на стену соседнего дома. Стояли рядами столы, вдоль стен тянулись стеллажи. Кое-где на столах горели лампы – видимо, с вечера.

– Проходите, пожалуйста, – и брюнет за рукав подтянул профессора к своему столу. – Смотрите. Но прежде... сядьте.

И он придвинул черное кожаное кресло. Профессор оглянулся по сторонам, сел и сложил руки на груди. Потом снял очки, потер пальцами переносицу, с тоской посмотрел на окно, за которым не было видно ни солнца, ни елей, ни голубого неба.

Брюнет суетился у стола. В одной руке он держал ракушку, в другой – щуп. Обе дрожали, щуп никак не хотел лезть. Брюнет выдохнул, встряхнул головой и, закусив губу, продолжал вертеть ракушку.

– Дай сюда, – не выдержал профессор и вырвал ее из рук брюнета. – Разнесешь ведь.

И он поудобнее устроился в кресле.

– Так, – сказал он, – так. Ну, приступим. Включай экран.

И он принялся медленно проталкивать щуп.

– Так. Назад... назад... продолжаем...

Брюнет кусал ногти, профессор, прищурившись, перебирал пальцами.

– Тупик... а если вот так... ага... ну, смотри у меня, Сережа. Если это шутка, тебе несдобровать...

Брюнет возмущенно замахал руками.

Дверь отворилась, в кабинет ввалился, отдуваясь, грузный аспирант, уже несколько месяцев обивающий пороги лабораторий.

– Здравствуйте, – пробормотал он и, поправив очки, двинулся к выделенному специально для него столу.

– Здравствуй, Олег, – не отрывая глаз от экрана, ответил профессор.

Он подвигал ракушкой.

– Все, Сережа, конец пути.

– Нет-нет, Аркадий Николаевич, не может такого быть...

– Ну, ты же видишь. Постой-ка... идет, вроде.

И он надавил кистью на ракушку. В следующий момент кровь отхлынула от его щек.

– Олег, – тихо позвал он, – пойдика погуляй.

Аспирант покорно выбрался из-за стола и вышел.

Профессор, не выпуская ракушки, вытянул шею и приблизил лицо к экрану. Брюнет с довольным видом скрестил руки на груди.

Изображение подрагивало и прерывалось помехами, но на экране можно было без труда различить водную

гладь, линию горизонта, над которой нависали облака, темный массив какой-то скалы, истончающейся и исчезающей в воде. Море было спокойно, солнце играло на невысоких волнах, торопливо бегущих к берегу. Угол обзора был таким, как если бы объектив лежал на песке в небольшом отдалении от линии прибора.

Профессор медленно опустил ракушку на стол, снял очки, повертел их в руках и вернул на место. Потом взъерошил себе волосы и протянул:

– Нда-а-а-а.

Брюнет возбужденно покачался с носка на пятку.

Профессор придвинулся еще ближе – и только что носом не уткнулся в экран. Море безмятежно гладило гальку, пузатые облака ползли по небу.

– И как это понимать?

Молчание.

– Как это понимать, Сережа? – профессор повернулся и посмотрел на брюнета так, словно тот был виноват в происходящем.

Молчание. Профессор потер виски.

– Другие ракушки пробовал?

– Пробовал.

– И?

– Больше ни в одну не влезает.

Дверь приоткрылась и в образовавшейся щели появилось лицо аспиранта.

– Простите... – пробормотал он. – Еще гулять?

– Да, еще гулять, – не поворачиваясь, ответил профессор.

Он встал и прошелся между столами, не переставая тереть виски.

– Так... Так... – говорил он, обращаясь к самому себе. – Это, конечно, невероятно... Но... Почему бы и нет?..

– Аркадий Николаевич! – завопил истошным голосом брюнет. – Теплоход!

Профессор бросился к экрану, зацепив соседний стол и сметя с него какие-то папки.

По морю не спеша полз вытянутый силуэт. Бок, обращенный к солнцу, сиял белизной.

– Сам ты теплоход. Обычный рейсовый катер.

Катер, как будто зная, что за ним следят, замедлил ход, почти остановился, но тут же раздумал, ускорился, обогнул горный склон и исчез.

Профессор снова зашагал между столами. Присел на корточки, поднял упавшие папки, аккуратно вернул на место.

Наконец, остановился, посмотрел на часы и строго сказал:

– Сережа. Сиди здесь, от экрана не отходи. От ракушки тоже. И ставь на запись – чтоб ни одну лодку не пропустить. А я поехал за специалистом.

– По ракушкам?

– Вот еще. По судостроению.

Брюнет непонимающе поджал губы.

– А зачем он нам?

– А как еще ты поймешь, на что мы смотрим? Ты, может быть, ландшафт узнаешь?

Брюнет хлопнул себя по лбу.

– Простите, Аркадий Николаевич.

Профессор поправил очки, бросил взгляд на окно и вышел.

Брюнет, не отрываясь от экрана, придвинул кресло, сел, включил запись и стал наблюдать. Море лениво колыhalось, солнце то пряталось за облаками, то выныри-

вало на простор. Брюнет посмотрел на окно – стену противоположного дома расчерчивали лучи.

– Часовой пояс почти наш... – пробормотал он.

Подтянул к себе листок бумаги и торопливо записал:

"Часовой пояс – почти наш".

Потом укусил карандаш за ластик и добавил:

"Или вообще – наш".

Из-за горы выглянул нос какого-то судна. Брюнет отметил время. Через три минуты гость скрылся за кадром – появилась соответствующая запись.

Около получаса не происходило ничего. В кабинет тихо вошел аспирант, сел за свой стол, что-то долго писал. Закончив писать, вышел.

По гальке просеменил краб. Покружились и разлетелись в стороны птицы, похожие на чаек.

Потом откуда-то сбоку показалась то ли яхта, то ли катер – и прошла так близко к объективу, что у брюнета даже ладони вспотели – он решил, что судно причалит к берегу прямо перед ним. Но оно, прогарцевав, развернулось – и исчезло.

Когда у брюнета от напряжения стали слезиться глаза, в коридоре послышался топот – и в кабинет влетел профессор. За ним спешил, тяжело дыша, невысокий крепкий старик с острой бородкой и грандиозными седыми кудрями, торчащими в разные стороны.

– Ну что там? – сходу кинулся на брюнета профессор.

– Вот, – ответил брюнет и положил ладонь на записи.

– Никодим Сергеевич, – обратился профессор к гостю, – мы Вам сейчас покажем картинки, а Вы будьте любезны, постарайтесь угадать в них – что за корабли бороздят эти просторы? Включай, Сережа.

Брюнет медленно отодвинул в сторону ракушку и настроил воспроизведение.

– Вот, сейчас... немного промотаю... вот.

Гость вытер платком раскрасневшееся лицо и склонился над столом.

– Мелко-то как. Получше картинок нет?

Брюнет развел руками.

– Никодим Сергеевич, миленький, постарайтесь, – умоляюще проговорил профессор. – Нам крайне важно понимать, что это за суда.

Гость вздохнул и достал из нагрудного кармана очки.

– Так... Ближе не подойдет? Хорошо... ну, это рейсовый катер. Скорее всего... – и он озвучил название катера.

– Вот еще есть.

Брюнет перескочил на несколько минут вперед.

– А это яхта. Если точнее, то... – и гость что-то сказал не по-русски. – Да, она. Мы на такой ходили лет пять назад. Может, на этой самой.

Брюнет перепрыгнул через краба и явил зрителям белого красавца, подобравшегося совсем близко.

– Это тоже яхта. О, как видно хорошо. Это... – прозвучало еще одно звучное имя.

– Все.

– Сережа, записал?

– Конечно.

– Большое Вам спасибо, Никодим Сергеевич. С меня причитается, – и профессор крепко сжал руку гостя.

– Да уж будь добр, Аркадий, – выдохнул тот. – Чуть сердце не выскочило – так нестись. И из-за такого пустяка. Я бы тебе и по телефону мог рассказать, какие штуковины через эти места елозят.

Брюнет закашлялся, а профессор хлопнул себя по лбу.

– Вы знаете, где это? – ахнул он.

– Ну разумеется, – важно сообщил гость. – Это ж Севастополь. Если не ошибаюсь, чуть западнее нового пляжа. Места относительно безлюдные, потому как добраться до них относительно непросто, – он подбоченился. – Но я добирался.

– Значит, и я доберусь, – быстро сказал профессор. – А уж этот молодец – и подавно.

Он кивнул на брюнета. Гость медленно смерил молодца взглядом.

– Да, этот сможет. Крепкий.

И он протянул брюнету руку. Тот привстал и пожал ее.

– Сильнее жми, – скомандовал гость.

Брюнет сжал сильнее.

– Вот. Так достаточно, – заключил гость и удовлетворенно кивнул.

– Все, Никодим Сергеевич, давай провожаться. Нам работать надо, – засуетился профессор и, обхватив гостя за плечи, повел его к дверям. – Сережа, наблюдай. Я сейчас вернусь.

И они вышли.

Брюнет встал, потер ноющую кисть, потянулся. Потом прошагал от одной стены до другой, разминая затекшие конечности. Встал на носки, вытянул вверх руки и коснулся кончиками пальцев верхней полки стеллажа. В этот момент в кабинет вернулся профессор.

– Ничего ценного там нет, – строго сказал он.

– Где?

– На стеллаже.

И они засмеялись.

Потом профессор сел на угол стола, поправил очки и начал торжественно:

– Сережа. То, чему мы сейчас являемся свидетелями... в высшей мере странно. Но наука на добрую половину состоит из странностей. Мы должны благодарно и бережно и принять предоставленную нам возможность – возможность узнать что-то принципиально новое. Я не знаю, как это может работать, но кое-какие мысли у меня есть. Для меня твоя находка особенно ценна, и вот по какой причине.

Он кашлянул в кулак и продолжал.

– Мой возраст не позволяет строить каких-то особенных планов на будущее относительно научной деятельности. За свою долгую карьеру я, как мне кажется, сделал достаточно. Последние же годы я трачу на всякую чепуху, которая только по недоразумению попадает ко мне на стол. Здоровье, Сережа, здоровье вносит свои коррективы – мне уже, по-хорошему, надо уходить. Сидеть на пенсии, возиться с правнучками, как и положено

юношам моих лет, листать накопившиеся подшивки. Да и начальство, сам знаешь... так вот. Эта ракушка, – он показал на нее пальцем, – мой шанс уйти, так скажем, красиво. Закончить действительно серьезным открытием. Или хотя бы преддверием открытия. Это то, ради чего мне не жаль еще год-два поночевать в лаборатории.

Брюнет слушал молча.

– Работать будем вместе. Мы с тобой знакомы давно, потенциал у тебя серьезный, дело любишь и знаешь. Если я сойду с рельс – закончишь начатое. Единственное, на чем останавливаю твое внимание – гласность. До какого-то момента об этом, – он снова показал на ракушку, – никому нельзя говорить. Тема, в некотором роде, провокационная, у нас ее мигом отберут и передадут в контору посOLIDнее. Может быть, во мне говорит недостойное ученого тщеславие – не исключаю такого варианта. Но для меня это возможность снова поработать увлеченно, и я ее не хотел бы упускать. Ты понимаешь?

Брюнет кивнул.

– Соглашаться или нет – зависит от тебя. Можешь сказать: «Это мое, этим я буду заниматься один». И я тебя пойму. Можешь пойти к начальству – и доложить; во имя науки, например. Тоже пойму. Обид не будет, продолжим работать, как работали. Но если согласишься взять старика в напарники – буду тебе очень признателен.

Он пожал плечами и потер переносицу.

Брюнет с готовностью подошел к профессору и сжал его руку.

– Аркадий Николаевич! Вы мне как отец! Не обижайте меня, прошу Вас. Для меня честь – работать с Вами, и я с удовольствием передаю нашу диковину, – теперь он ткнул в ракушку пальцем, – под Ваше шефство.

Профессор моргнул и глаза его заблестели.

Минута прошла в молчании. Потом профессор взял ручку и бумагу.

– Сделаем так. Ты, Сережа, давно не отдыхал. Выпросим тебе путевку в Севастополь, поедешь с Леной – позагораешь, в море поплаваешь, достопримечательности посмотришь. А в один из дней отправишься к нашему с тобой заливчику – и поглядишь, как сие чудо выглядит с той стороны. Будем на связи: я тут, ты – там. Как тебе план?

– Замечательный. Лена будет в восторге.

– Ну и славненько. Сегодня можешь начинать сборы, я сейчас же побегу наверх. Ну и до конца дня вручаю тебе торжественный отгул.

Брюнет благодарно склонил голову.

– Ракушку заберу к себе, – добавил профессор. – Положу в сейф.

И он назвал код.

Еще раз обменялись рукопожатиями, вытащили из ракушки щуп, удалили запись и, выйдя из кабинета вме-

сте, разошлись в разные стороны: брюнет – вниз, к выходу; профессор – вверх, к начальству.

Начальство оказалось весьма лояльным – и на путевку согласилось почти сразу. Возможно, сыграл роль авторитет просителя. Как бы то ни было, уже через неделю профессор сидел у экрана, за окном вечерело, рабочий день был окончен, дверь кабинета – заперта изнутри, по коридорам разносилось гулкое эхо запаздывающих коллег.

На столе перед профессором лежала ракушка, в правой руке он держал телефонную трубку, в левой – карандаш, которым выстукивал какой-то мотив. На экране беззаботно плескалась вода, солнце клонилось к закату, чайки наворачивали круги по безоблачному небу.

– Ну что, далеко еще? – говорил он в трубку.

– Нет, Аркадий Николаевич, пару минут... – отвечали ему с того конца провода. – Тут тропа вполне прием-

лемая, уж не знаю, чего там Ваш товарищ... Я вчера уже был здесь.

– И что, оно?

– Совершенно точно оно. Даже точку обзора нашел, камушками обозначил. В принципе, и сюда народ бы валом валил – да вход в море неудобный.

Профессор прижал трубку плечом, подтянул к себе точилку и принялся точить карандаш.

– Как отдыхается?

– Прекрасно, Аркадий Николаевич, просто замечательно. Я обгорел.

– Поздравляю.

– Спасибо.

Помолчали. В трубке слышалось сопение.

– Так... Еще немного... Секунду... Вот. Я тут. Иду к камушкам.

Профессор отложил точилку, следом отложил карандаш.

– Все, – прозвучал в трубке голос брюнета, – запускайте.

Профессор нахмурился.

– Что запускать?

– Ну, щуп. Вставляйте.

– Так он вставлен, я же сижу смотрю. Ты где? Выйди вперед.

– Вышел.

– Куда-то ты не туда вышел, тебя не видно.

– Постойте... А теперь?

– И теперь. Ты что-нибудь видишь?

– Нет.

– погоди, попробую щуп подальше протолкнуть...

И профессор принялся вертеть ракушку.

– А сейчас?

– Нет... Кажется... Тут галька, могу и проглядеть... Вы лучше на меня ориентируйтесь. Я сейчас добегу до одного края пляжа – и медленно пойду до другого. Где-нибудь да увидите...

И в трубке снова запыхтели.

– Все, Аркадий Николаевич, начинаю дефиле. Следите.

– Давай.

Профессор придвинулся к экрану почти вплотную. Белой пеной расплзались по берегу ленивые волны, солнце почти касалось горизонта.

– Аркадий Николаевич.

– Да.

– Вы тут?

– Тут.

– Я все, прошел. Не могли пропустить?

Профессор потер переносицу.

– Ни в коем случае.

Вдруг он воскликнул.

– Стоп! Сережа! Смотри! Парусник видишь? С какой он от тебя стороны?

Из-за горы выпорхнул стройный, грациозный парусный катер. Бока его сияли белизной, нос иглой смотрел вперед, а паруса раздувались – и казалось, что раздуваются они не от ветра, а от осознания собственного величия.

– Парусник? – раздалось в трубке. – Какой еще парусник?

Профессор уронил голову на руки.

– Это не то место, Сережа. Ошибся наш специалист.

– Как не то, Аркадий Николаевич! Точно то!

– Сережа. Передо мной сейчас на экране белеет парус одинокий. Одинокий – это образно выражаясь, так как парусов у этого чуда целый набор. Он сейчас так близко подплыл, что ты по приезду и название, наверное, сможешь разглядеть.

В трубке повисло молчание.

– Не то, не то, Сережа. Сворачивайся. Приедешь – будем искать.

Молчание.

– Сережа. Ты там?

– Там... Сейчас, Аркадий Николаевич... Хотя бы зафотографирую тут все.

– Давай, фотографируй. Я пошел. Голова раскалывается.

И профессор положил трубку.

За окном стоял густой вечер, стена таяла в сумраке. Сиял пронзительно экран, вокруг него кабинет казался погруженным во тьму. Солнце уже на четверть скрылось, от него по морю тянулась дрожащая огнем полоса. Профессор встал, выключил экран и не спеша вытащил из ракушки щуп. Потом взял ракушку, поднес ее к уху и закрыл глаза. До него донесся равномерный шум волн, рассыпающихся о берег. Шум обволакивал, звал, шептал что-то знакомое, сокровенное.

– Аркадий Николаевич, Вы тут? – раздался приглушенный голос, кто-то дернул ручку и дверь затряслась.

Профессор вздрогнул и уронил ракушку. Раздался сухой удар – и по полу во все стороны разлетелись белокоричневые осколки. Профессор схватился за сердце, ноги его подкосились, он нащупал рукой спинку стула – и медленно сел.

Аспирант, открывший дверь старого кабинета запасным ключом, обнаружил Аркадия Николаевича сидящим в темноте за одним из столов. Он был бледен, тяжело дышал, на полу перед ним пестрели осколки.

Когда профессора отпоили водой и корвалолом, он пояснил, что ему на почве переутомления стало нехорошо – и он уронил ракушку, которую перед этим снял со стеллажа из чистого любопытства. Начальство определило Аркадия Николаевича в санаторий и настояло на окончательном завершении карьеры.

По возвращении из санатория профессор еще раз пригласил в НИИ старого университетского товарища Никодима Сергеевича. Вместе с Сергеем, с которого еще не сошел Севастопольский загар, они просмотрели запись, пытаясь понять, что за парусник попал в кадр. Что сделать, к сожалению, не удалось из-за размытого изображения. Никодим Сергеевич побожился, что на экране именно Севастополь, обиделся и удалился. Сергей

предъявил профессору сделанные фотокарточки, ландшафт действительно был крайне похож.

Сколько ни старались, больше ни в одну ракушку щупом пролезть не удалось – вне зависимости от размера. Даже в огромном средиземноморском монстре щуп в какой-то момент упирался в стенку и дальше двигаться отказывался.

Разбитый экземпляр сперва пытались собрать и склеить, потом разобрали до самой сердцевины, но ничего необычного не обнаружили.

В конце концов, Аркадий Николаевич лично отправился в Севастополь, нашел требуемый пляж, с горем пополам пробрался на него, но ничего, кроме живописного заката не увидел. Зато он наконец-то отдохнул, выспался, накупался, обзавелся бронзовым загаром и втридорога купил роскошную белоснежную фуражку.

После поездки он о случае с ракушкой не заговаривал. С Сергеем виделся дважды в месяц, время от време-

ни заходил в НИИ, стал своим в компании стариков-шахматистов, заседавших в городском парке, прочел всю подшивку за последние годы, потом перечитал ее, начал писать мемуары и бросил, а через четыре года, в связи с ухудшившимся здоровьем переехал к дочери в Рязань. Первое время они с Сергеем созванивались, два или три раза последний с семьей приезжал погостить. Позже с Сергеем связалась дочь профессора и сообщила, что у отца нехорошо с сердцем, что ему предписан покой и уединение – и попросила какое-то время не звонить. Тем более – не приезжать. Сергей отнесся с пониманием и просьбу пообещал выполнить.

Спустя еще четыре года Сергею страстно захотелось в Севастополь. Что тут сыграло решающую роль – ностальгия, профессиональный кризис или тоска по старшему товарищу – Бог знает. Он взял отпуск, обрадовал семью – и, окруженный детьми, под руку с супругой сошел с трапа на славную севастопольскую землю. Заселились в уже знакомый отель, купались, слушали музыку, ели

мороженое и вечерами наблюдали за тем, как вздрагивает, качаясь, лунная дорожка.

В первый же день Сергей выкроил время – и навесит таинственный пляж. Прошелся по нему взад-вперед, поворошил ногой гальку, бросил в воду монету.

Вечером накануне отъезда гуляли по набережной. Жара спала, уступив место приятной, обволакивающей духоте. С моря тянуло солью, кричали чайки.

– Хорошо здесь, – сказала Сергею жена.

Он обнял ее.

Дети вприпрыжку бегали вокруг них, подгоняя и смеясь.

Внезапно Сергей остановился.

В отдалении, у пристани покачивался высокий парусник. Заканчивалась посадка. Еще минута – трап оказался сложен. Запенилась вода – и сияющий красавец на-

чал движение. На палубе толпились смеющиеся люди, махали руками, что-то кричали оставшимся на пристани.

Сергей побледнел, заозирался по сторонам, потом сказал жене взволнованно:

– Сядьте где-нибудь, попейте кофе.

И, не дожидаясь ответа, он развернулся и зашагал в сторону пляжей, ежесекундно оборачиваясь на парусник. Прибавил шаг, потом побежал трусцой, потом сорвался – и что есть мочи понесся, уворачиваясь от возмущенных прохожих.

Влетел на пляж, загребая туфлями песок, побежал по кромке воды, поднимая брызги. В это время парусник каким-то невероятным образом догнал его, немного прошелся вровень – и, ускорившись, двинулся в сторону скалы. Сергей стиснул зубы, добрался, задыхаясь, до уступов, кинулся на них, расцарапывая руки; спотыкался, карабкался, скатывался, перепрыгивал – и, наконец, оказался в заветном месте.

Парусник уже обогнул скалу, прошествовал по дуге мимо берега и был готов исчезнуть за противоположной грядой. Солнце касалось горизонта, рассыпая во все стороны волны малиновых лучей.

Сергей бросился вперед, слыша только оглушительный грохот сердца, запнулся, упал, тут же поднялся – и замер.

В паре метрах от него, над самой землей что-то блеснуло. У Сергея перехватило дыхание. В воздухе висела крохотная, сияющая в лучах закатного солнца песчинка. Это был глазок щупа.

Через мгновение песчинка исчезла.

Сергей сел, закрыл лицо руками и заплакал.
